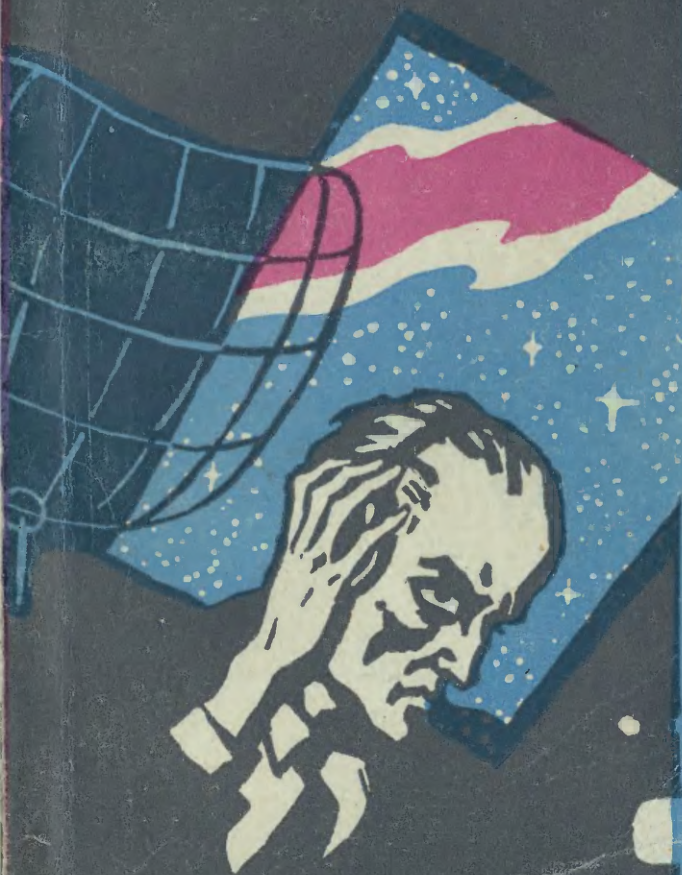
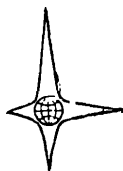


КУРТ ЗАНДНЕР
СИГНАЛ ИЗ КОСМОСА



З
А
Р
У
Б
Е
Ж
Н
А
Я
Ф
А
Н
Т
А
С
Т
И
К
А



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«МИР»

KURT SANDNER



SIGNAL AUS DEM KOSMOS

VERLAG DER NATION

BERLIN 1960



КУРТ ЗАНДНЕР

СИГНАЛ

ИЗ

КОСМОСА

Предисловие А. П. Казанцева



ИЗДАТЕЛЬСТВО „МИР“ МОСКВА 1965

Перевод с немецкого А. Э. СИПОВИЧА
Редактор Р. А. ШТИЛЬМАРК

*Редакция научно-фантастической
и научно-популярной литературы*

Предисловие

Казалось, мир привык уже к внезапному перерыву в радио- и телевизионных передачах, когда взволнованные дикторы сообщают в «молниях» из Москвы о новых и новых дерзких шагах советских людей на пути овладения космосом. Казалось, мир перестал удивляться, привык... Но в то же время он удивляется! Первый искусственный спутник Земли, первый человек, поднявшийся в космос, первая армада кораблей в космосе, первая экспедиция из трех человек в одном корабле, первый человек в скафандре, покинувший корабль и пролетевший почти пять тысяч километров в пустоте космического пространства, наконец, первая посадка корабля на Землю с помощью ручного управления — так, как пришлось бы посадить его на другую планету. На очереди посещение Луны и других планет.

Люди Земли привыкли мыслить фантастическими категориями, поверили в воплощение самой дерзкой мечты. Это не могло не отразиться на отношении к литературе. Научно-фантастическая литература, до недавнего времени имевшая свой круг любителей, преимущественно молодежь, была вынесена на гре-

бень волны общего читательского интереса во многих странах мира. Произведения фантастов переводятся на многие языки, в том числе и советских научных фантастов.

Французский литературный критик Жак Бержье несколько лет назад писал в журнале «В защиту мира», а потом в нашем альманахе «На суше и на море», что в мире, как он полагает, существуют два основных потока научной фантастики—советская и англо-американская. Жак Бержье классифицировал их не по идейной направленности, а по темам.

Тем не менее раздел, проведенный Жаком Бержье, может быть, принципиально верен, потому что советская научная фантастика — это прежде всего оптимистическая литература научной мечты, литература творческих исканий, преобразования планеты, предотвращения мировых катастроф. Англо-американская фантастическая литература — в своей основе литература пессимистическая, смакующая ужасы войн, земных и галактических, гибель цивилизации, диких потомков. Во многих случаях она сбивается на прямую мистику и фрейдизм, обнажая внутреннюю сущность своего героя — человека-зверя. В этом потоке мы находим произведения (прежде всего Рэя Бредбери), которые звучат как предупреждение западному миру; они помогают бороться против термоядерных войн и возможной гибели человечества. В научно-фантастической литературе писатели закономерно отражают, если они подлинные художники, свою современность, присущие этой современности взгляды на будущее, чаяния и мечты, тревоги и опасения. Фантастика

не может быть оторвана от действительности, иначе она превратится в абстракционизм, в голую умозрительную схему. Сила воздействия научно-фантастического произведения — в его эмоциональности, в правдоподобии и достоверности, а не в уходе от действительности. Вспомним хотя бы то, что в большинстве своих знаменитых романов Жюль Верн описывал свою эпоху, своих современников, ставил их в острые положения, возникающие при использовании изобретений, которые были тогда лишь мечтой писателя.

Встречаясь несколько лет назад в Париже с тем же Жаком Бержье, я слышал его горькие сетования на то, что в стране Жюль Верна, во Франции, нет видных последователей этого великого фантаста.

Надо думать, что сейчас положение изменилось. Фантастические победы науки в области физики, в частности ядерной физики, в реактивной технике и завоевании космоса, в первую очередь советскими людьми, привлекли к фантастике внимание не только миллионов читателей, но и писателей. Появились фантасты в социалистических странах (наиболее заметный из них Станислав Лем), появились и во Франции (такой, как Карсак), и в Германской Демократической Республике, и в Федеративной Республике Германии.

Теперь можно говорить о немецкой фантастической литературе. Не надо думать, что она выросла на пустом месте. Достаточно вспомнить Курта Ларсвица и его романы «На двух планетах» и «В тумане тысячелетий». Он был современником Жюль Верна.

Конечно, нельзя не вспомнить такой великолепный роман, как «Туннель» Бернгарда Келлермана, в котором так ярко, с оправданной гиперболичностью показан капиталистический мир периода его расцвета. Не всякий причислит это произведение к научной фантастике, но оно могло бы служить в этом жанре высоким художественным образцом.

Известен был и романист Ганс Доминик, автор пятнадцати романов, в том числе таких, как «Власть трех», «Атлантида», «Наследие Уранды», «Лучи жизни». В двадцатых годах он писал о войнах рас и континентов, отражая в зеркале фантазии умонастроения людей своего времени, своего класса.

Так же отражают умонастроения своего времени, своего класса и современные немецкие фантасты. Космос!.. Прежде всего космос!.. Казалось бы, ему и занять всю фантастическую тему, но... Курт Занднер в своем романе «Сигнал из космоса», которому мы предпосылаем этот краткий обзор немецкой фантастики, совмещает космическую тему с острой темой современности, делает повествование реалистическим и разоблачительным.

Ученый услышал с помощью сконструированного им прибора сигналы разумных существ, живущих на планете другой звезды!..

Об этом сейчас мечтает весь мир!.. Весь мир, но не серая вязкая среда немецкого мешанства нынешней Западной Германии. Там человек, осмелившийся думать не так, как думают власть имущие, обречен на гонение и травлю.

Герой романа Курта Занднера — отнюдь не герой-борец. Он робок, застенчив, неуклюж, боязлив... Но вопреки самому себе он талантлив. Он изобретатель!..

Можно вспомнить, как много сделали для развития радиотехники радиолюбители. Вполне достоверно поэтому, что герой Занднера действует как радиолюбитель, оставаясь недюжинным ученым. Не получая государственных субсидий на разработку своей фантастической темы, не решаясь даже испрашивать их в стране, где возрождается гонка вооружений во имя безумной идеи реванша, герой Занднера на свои скудные средства создает аппаратуру, с помощью которой принимает сигналы из космоса.

Что это? Достоверность?

Ныне получение сигналов разумных существ внеземных цивилизаций вошло в программу научных исследований. Эта проблема как бы уходит из ведения научных фантастов, переходит непосредственно к ученым. И, конечно, она не может исчезнуть из поля зрения писателя.

Уже несколько лет по плану «Озма» американские радиоастрономы ведут, правда пока безуспешно, поиски сигналов на длине волны, излучаемой космическим водородом. Американские ученые Коккони и Моррисон высказали интересную мысль, что любая разумная раса, где бы она ни находилась, непременно будет изучать межзвездное вещество по его радиоизлучениям. А это вещество — по преимуществу межзвездный водород. Излучение окружающих звезд возбуждает его, и он сам начи-

нает излучать радиоволны на длине двадцать один сантиметр. Не на этой ли длине волны жители другой планеты могут пытаться передать нам, землянам, свои радиосообщения? Ведь у них будет надежда, что такие сигналы непременно будут приняты, если на Земле цивилизация доросла до изучения космоса с помощью радио? Радиотелескоп американского радиоастронома Дрейка был направлен в сторону ближайших звезд, около которых можно было предполагать существование планет, где могла бы развиваться жизнь, в том числе и разумная. Эпсилон Эридана, Тау Кита... Опыты были повторены и у нас в СССР в Институте имени Штернберга. К сожалению, результатов они не дали. Впрочем, несколько лет исканий — это очень мало! Авторы проекта разумно говорят, что искать в космосе чужие сигналы нужно терпеливо в течение, быть может, столетий...

Советские ученые подходят к этому вопросу очень широко. Не так давно со специальным докладом о связи с инопланетными цивилизациями (не в фантастическом романе, а в Академии наук СССР) выступил профессор И. С. Шкловский. Он упоминал об интересной статье, опубликованной советским астрономом Н. С. Кардашевым в «Астрономическом журнале». Основные мысли Кардашева существенно отличаются от рассуждений американцев. Он считает, что на длине волны космического водорода разумные сигналы наименее вероятны. Это же диапазон наибольших космических помех! И в самом деле: ведь на волне двадцать один сантиметр «шумит» весь межзвездный

водород. Разумные сигналы надо искать в других диапазонах, где условия передачи и приема наиболее благоприятны, где помехи наименьшие! Кардашев высказал пусть спорную, но любопытную гипотезу: разумные расы, достигнув вершин цивилизации, будут вещать не направленным лучом, как предполагали американцы, а обращаясь ко всем, всем, всем жителям Вселенной, способным мыслить.

Правда, при этом пришлось сделать рискованный вывод о невероятных количествах энергии, которую необходимо затратить на подобную передачу. Это количество сопоставимо с энергией, излучаемой средней звездой, и даже больше... Но если не ставить искусственного барьера развитию цивилизации, если мысленно продолжить кривую роста потребления и производства энергии у нас на Земле, как указывает Шкловский, можно вполне реально представить себе разумные расы, способные затратить такую гигантскую энергию для связи с младшими братьями по разуму.

Кардашев даже проанализировал характер таких сигналов и указал на некоторые радиосигналы, принимаемые на Земле (СТА-21 и СТА-102), которые не имеют оптического адреса (то есть источники их не зарегистрированы оптическими инструментами). Эти сигналы подходят под характеристику искусственных сигналов.

Дело науки — решить в дальнейшем этот увлекательный вопрос. Дело литературы — мечтать об этом решении. Курт Занднер мечтает. Его герой, приняв сигналы от неведомых существ, живущих на планете другой звезды,

расшифровывает их общий смысл, находит доказательство их искусственного происхождения, видит в них предупреждение против неразумного использования ядерной энергии в целях уничтожения. В этом прогрессивное начало мыслей героя романа, и в этом его главное преступление с точки зрения окружающей мещанской среды. Для них он — выразитель «крамольных» мыслей, идущих из социалистического лагеря, о недопустимости использования ядерных средств уничтожения.

В герое романа Занднера как бы уживаются два человека: робкий, забитый немец, женатый на мещанке, выросший и живущий среди бюргеров, дрожащий перед университетским начальством, и ученый с совестью гуманиста, который анализирует принятые им сигналы и способен на выбор трудного пути.

Роман не завершает событий: им еще предстоит развиваться. И они развиваются. Если действительно будут приняты сигналы, то их станут расшифровывать все электронно-вычислительные машины, которые только можно будет привлечь для этого на Земле. Уже закладываются основы такой расшифровки. Голландский математик Фронденталь разрабатывает своеобразный галактический язык, основанный на понятиях математической логики, который может быть понят любым мыслящим существом и который можно положить в основу общения с инопланетянами, безразлично какого — контактного (когда-то это будет!) или по радио (кажется, мы уже накануне!)

Курт Занднер продолжает своим романом очень близкую нам тему борьбы против ядер-

ных войн. Реалистическая форма повествования не позволяет порой даже заподозрить, что мы имеем дело с фантастическим произведением. Его герои списаны с действительности. Правдиво показана реакция различных слоев населения Западной Германии на наши первые успехи в освоении космоса. Зародившаяся ныне мечта установить радиосвязь с инопланетянами представляется кое-кому из властей имущих в Западной Германии даже опасной, если она звучит протестом против гонки вооружений. Сама тема романа Занднера отвечает современности.

События и интересы современности отражаются и в других произведениях немецких научных фантастов. Однако здесь отчетливо прослеживаются две линии, отражающие мировоззрение писателей Германской Демократической Республики и Федеративной Республики Германии. Проследим каждую из них в отдельности. Карлос Раш в романе «Охотники за астероидами» описывает грандиозные межпланетные экспедиции, ставящие себе цель расчистить пути для межпланетных полетов в солнечной системе, предотвратить опасность столкновения с метеоритами, исключить вредное влияние таких космических тел, как астероиды. В другом романе, «Голубая планета», Карлос Раш рассказывает о посещении Земли в глубокой древности представителями внеземной цивилизации, гелоидами. В занимательной форме он отражает гипотезы современных ученых, прежде всего советского ученого, физика М. М. Агреста (выступившего с гипотезой о том, что в древности на Земле побывали ино-

планетные космонавты; он основывался при этом на текстах из Библии), а также крупного американского астронома Карла Сагана (он пришел к той же мысли на основе анализа древнешумерских сказаний), не говоря уж о сходных гипотезах советских фантастов.

Другой немецкий писатель, Гюнтер Крупкат, в романе «Когда умерли боги» романтически рассказывает (в фантастическом плане достаточно обоснованно) о древних посещениях Земли инопланетянами-межуанцами. Он тоже основывается на гипотезах советских ученых и фантастов, позволяющих ему развить увлекательный сюжет. Экспедиция людей прибывает на спутник Марса Фобос, который был когда-то космической базой жителей соседней с Марсом планеты Межу. Эта планета погибла от столкновения двух своих космических частей (это была двойная планета).

Писатель Лотар Вейзе тоже переносит современные конфликты и чаяния в необыкновенную обстановку других планет. В его романе «Тайна Трансплутона» земной космический корабль «Циолковский» опускается на прежде неизвестную в солнечной системе планету, имеющую собственное искусственное солнце. Вместе с членами его экипажа в чужой населенный мир проникает посланный американскими империалистами агент, пытающийся использовать вражду двух народов планеты — эйоров и йоров, чтобы с помощью мрачных сил Трансплутона восстановить царство капитала на Земле. В разгоревшемся конфликте эти мрачные силы, готовые вмешаться и в земные дела, в отчаянной борьбе за ускользающую от

них власть гасят искусственное солнце своей планеты. Однако противостоящие им прогрессивные силы сначала не дают разрушенному солнцу упасть на планету, а затем, спасая цивилизацию, зажигают новое искусственное солнце. В этих, казалось бы, невероятных конфликтах и общепланетных катаклизмах можно, как в зеркале, увидеть наши земные дела. Какую бы ни избрал форму писатель, он защищает доброе начало, он ненавидит не просто зло, а авантюры носителей зла, грозящие концом цивилизации.

В другом романе, «Предприятие Марсгиббереллин», тот же Лотар Вейзе ставит перед собой куда меньшие проблемы, не выходящие за рамки ускоренного выращивания растений на Земле с помощью стимуляторов роста, которые можно добыть лишь на Марсе. Писатель показывает борьбу двух научных направлений и космические экспедиции, служащие реальным земным целям. Как бы ни были спорны взгляды ученых — героев этого романа, но общая его направленность — стремление к счастью человечества. Конфликты и их решения подсказаны писателю действительностью. Вопрос лишь в том, где и как будут найдены столь необходимые людям стимуляторы роста растений. Вполне может быть, что не на Марсе.

Выделяется интересный роман Рихарда Гросса «Человек из другого тысячелетия». На читателей роман производит разное впечатление. В грядущих столетиях в силу стечения обстоятельств оживает находившийся в анабиозе человек, наш современник. Это американский

полковник, типичный милитарист, сын генерала, когда-то возглавившего экспедицию бежавших с Земли «сильных мира сего» (совсем как в романе А. Белыева «Прыжок в ничто»). Романист пытается показать, в каком положении окажется человек нашего времени, если он попадет в мир будущего, справедливый и светлый. Писатель уверен в облагораживающем и преобразующем влиянии среды. Американский военный не останется самим собой, вольно или невольно он пойдет в ногу с новыми современниками, иначе станет изгоем.

По другому представляют себе будущее писатели, живущие и работающие в ФРГ.

Отталкиваясь от тех же достижений в освоении космоса, которые пробудили особый интерес к фантастике, романист Ганс Кнейфель экстраполирует современные достижения. В романе «Нас звали звезды» экспедиция людей Земли летит на некое попавшее в нашу солнечную систему космическое тело Тропос, подбирает там раненого космонавта-инопланетянина и, расшифровав его рассказ, летит уже на его родную планету, чтобы помочь братьям по разуму, которым, спасаясь от неминуемой гибели, предстоит переселиться на другую планету. Скорость их корабля, если это нужно автору, превышает скорость света во много раз. Его герои вмешиваются в начинающуюся космическую войну, истребляя агрессивных мудрых муравьев планеты Кодон, к которым они было попали не то в гости, не то в плен.

Ганс Кнейфель не очень самостоятелен в своем творчестве. Он, несомненно, идет в пото-

ке стандартной американизированной фантастики. Это весьма ярко проявляется в другом его романе, «Дальше, чем ты думаешь». Герой его — сверхчеловек, которому была сделана соответствующая операция мозга, возвысившая его над всеми. Этот герой — космический полицейский. Он «наводит порядок» на множестве планет, подчиненных некоему «Триозлярному Союзу» — гигантскому космическому концерну, выколачивающему прибыли из целых планетных систем. Летает он в одиночку на принадлежащем лично ему космическом корабле. Он ловко подавляет восстания недовольных, приобретает новые космические колонии и облагает данью даже обитателей иных миров, которым он помог превратиться из шаровых сгустков энергии снова в человекообразные существа. Казалось бы, вот где абстракция, оторванная от действительности! Нет. И здесь действует закон, общий для любой литературы. Романист вольно или невольно в утрированной форме подает все те же идеи неокOLONиализма, воспекает всемирного жандарма.

Особый интерес представляет творчество крупного западногерманского писателя Герберта Франке. Остановимся на двух его фантастических романах, написанных в манере, типичной для современной западной прозы, — «Сетка мыслей» и «Стеклянная западня». Казалось бы, углубляясь в воспроизведение галлюцинаций, искусственно вызванных в испытываемом мозгу обвиняемого судьями-изуверами, автор уйдет в абстракционизм. Но он остается и здесь не менее злободневным. Со

всей силой художника он протестует против чудовищного урбанического будущего Земли, где не будет места ни полям и лесам, ни свободе чувств, ни свободе мыслей. Современные американские увлечения психотехникой и детекторами лжи он гиперболизирует: человека будут судить за одну только способность к самостоятельному мышлению и (боже упаси!) к героическим гуманным поступкам. Мозг преступного вольнодумца, законсервированный в банке, спустя несчетные времена попадает в руки неведомых пришельцев, посетивших окончательно вымершую Землю. Ради эксперимента они подключают этот оживленный ими мозг в кибернетическую систему своего корабля. Вольнодумец нежданно обретает свободу. Он побеждает в борьбе с экипажем корабля и, наконец-то свободный, улетает в безмерные дали космоса. Вот единственный путь к свободе, который видит писатель для своего героя, члена общества гипертрофированных наследников маккартизма. Горький памфлет!..

В другом романе, «Стеклянная западня», Герберт Франке гневно обличает прусско-казарменный строй, который организован неким «фюрером», возглавившим когда-то переселенные на другую планету горстки людей, уцелевших после гибели человечества от ядерной войны. Нарисованная писателем картина казарменного строя вызывает содрогание, пробуждает ненависть к тому, что было так недавно чисто немецким, арийским и что пытаются возродить теперь те, кто вынашивает в Западной Германии планы реванша. Писатель, пользуясь самыми невероятными допущениями и

взлетами фантазии, на деле отражает действительность, вмешивается в нее, как честный художник, который не может оставаться равнодушным.

Хочется закончить наш обзор характеристикой романа Генриха Гаузера «Мозг-гигант». Здесь художник, используя метод фантастики как некое литературное увеличительное стекло, показывает, куда может зайти Америка Пентагона. Человеку, где-то в основе своей таящему гуманное начало, по мнению генералов, уже нельзя будет доверить управление Америкой будущего. Надо создать жестокий бесчувственный мозг, равный по своим возможностям совокупности интеллектов всех гениев, когда-либо живших на Земле. Этот «мозг» через автоматические устройства должен будет управлять всем организмом страны, и, конечно, военными силами. Тут уже ничего не будет зависеть от эмоций президента или его советников, которым, может быть, ничто человеческое не чуждо.

Безумная затея генералов Пентагона осуществляется. Где-то в горах создано беспримерное кибернетическое устройство — мозг с миллиардами искусственных электронных нейронов, соответствующих двадцати пяти тысячам умов выдающихся людей. Это страшное устройство впитывает информацию. Оно дает оптимальные «советы», подсказывает даже, кого посадить диктатором в Южном Вьетнаме (какое ироническое предвидение!). Но «мозг» питают только антигуманными идеями. Самим создателям электронного чудовища становится страшно. Они пытаются привлечь настоя-

щих ученых-гуманистов, чтобы «сгладить» ум своего «воспитанника».

Случается так, что ученый-гуманист вынужден вступить в единоборство с электронным чудовищем. Оно не желает знать ничего гуманного, оно антигуманно в своей основе, как и те, кто его выдумал. Когда начинается борьба, мозг приступает к действиям. Первой его жертвой становится негодный, слишком человеческий президент США (роман написан до убийства Кеннеди!). Как видим, писатель в самой фантастической форме все же отражает реальные процессы, происходящие в американском обществе. История борьбы с электронным чудовищем, совершающим посредством подчиненных ему автоматических устройств возмутительные преступления против людей во всей стране, — таково содержание романа.

Ученый находит остроумное средство победить чудовище. Оно перестает существовать. Но... Пентагон уже добивается выделения средств для постройки нового, еще более совершенного и неуязвимого «мозга-гиганта». Как видим, дело тут не в электронике, а в антигуманном сознании тех людей, которые на самом деле претендуют на функции античеловеческого «мозга-гиганта» в Америке.

Не надо думать, что рассмотренные нами произведения немецких писателей отражают ту фантастику, которую преподносят немецкие издательства своим читателям. Увы, эти читатели буквально захлестнуты мутным потоком переводов американской фантастики, полной характерных черт американской литературы низкого пошиба: космические гангстеры, кос-

мические полицейские, космические погони... супермены галактик и блондинки с осиными талиями...

Но честные писатели и в Америке, и в Германской Демократической Республике, и в Федеративной Республике Германии, пользуясь приемами научной фантастики, выражают свое неприятие всего человеконенавистнического, что прививалось немецкому народу в течение многих десятилетий. Писатели — это совесть народа. Они верят в торжество разума. В этом они рядом с нами.

Александр Казанцев



1

Я пишу в полоске света шириной сантиметров десять. Уличный фонарь в большом больничном саду стоит, вероятно, недалеко от моего окна. Оно заделано решеткой и прикрывается на ночь металлическим жалюзи. Все в этом доме уже несколько обветшало, но администрация, по-видимому, очень экономно отпускает средства на ремонт. По счастливой случайности между подоконником и нижним краем покрывившегося жалюзи остается щель шириной в ладонь. Через нее-то и проникает

сюда луч света — единственное утешение во мраке моих ночей.

Лампу в палате гасят ровно в двадцать один час. В первые дни это обстоятельство доводило меня почти до бешенства, потому что в тихие часы перед полуночью мне всегда лучше всего удавалось работать, читать, размышлять. Больше того, мне кажется, что в последние месяцы я и жил-то по-настоящему только в ночную пору. Во всяком случае, в отношении жизни умственной это было именно так. Я вообще почти никогда не ложился раньше полуночи, а за последние недели, потраченные на обработку результатов моего открытия, только утренний рассвет клал, бывало, конец моей лихорадочной ночной работе. Это очень огорчало жену: она беспокоилась о моем здоровье. Кроме того, она боялась больших счетов за электричество.

Первое время в этой палате мне не оставалось ничего иного, как прислушиваться к стонам ветра среди голых деревьев сада и следить, как мелькают в полоске света тени ветвей. Было что-то зловещее, призрачное в этих отблесках, мелькавших на моей простыне; их зеленоватый оттенок вызывал мысли о тлене, могиле, погребении. Чем больше я в них всматривался, тем безысходнее представлялось мое положение, и без того нелегкое; воспоминания о совершенных ошибках, о допущенных неосторожностях угнетали мой разум, как тягостный кошмар, грозили довести до отчаяния.

К счастью, я скоро понял, что если не перестану себя терзать, то к прежним ошибкам добавлю новую, и притом самую непрости-

тельную. Надо было отвлечься и вместе с тем доказать самому себе, что мозг функционирует нормально. С этой целью — по углу падения светового луча и приблизительной длине его отрезка до окна — я стал вычислять местонахождение фонаря и расстояние его от окна. При помощи школьных истин о свойствах треугольника задачу эту, конечно, решить было легко — такая математическая «проблема» соответствует уровню гимназиста-терцианца *. Как ни смешно это звучит, но я получил огромное удовлетворение от того, что решил ее в каких-нибудь пять минут, хотя от возраста гимназиста-терцианца отделяют меня, увы, уже добрых тридцать лет.

Расстояние от окна до фонаря, установил я, около двадцати пяти метров, и висит он на высоте... впрочем, сейчас это уже ни для кого не важно.

После того как я столь бесхитростным способом вернул себе душевное равновесие, рассеялись мои зловещие призраки и я оценил возможную реальную пользу этого луча света, падавшего на мою простыню между одеялом и подушкой. Ведь этот луч освещал хоть и слабовато, но все же практически достаточно целую площадку, сантиметров двадцать на тридцать. Стоило мне под одеялом повыше подтянуть колени, как создавался предохранительный заслон: освещенный участок простыни и мои руки становились невидимыми для того, кто стал бы наблюдать через «глазок» в

* Терция в немецкой гимназии соответствует седьмому классу советской школы. — *Прим. ред.*

двери. Читать мне, разумеется, не разрешили. Все записи и вычисления конфискованы, и, когда я подумаю, что с ними стало, остается скрежетать зубами в бессильной ярости.

Теперь меня отвлекают эти записки, хотя и не знаю, удастся ли мне их закончить и решить поставленную перед собой задачу. Кроме того, я едва смею надеяться, что на этот раз мои записи попадут в верные руки. Да, приступив к работе над этой маленькой рукописью, я уже с нетерпением дожидаюсь, когда в комнате погасят свет. Писать днем или в ранние вечерние часы, разумеется, невозможно, так как, по всей вероятности, за мной непрерывно наблюдают; я не хочу по неосторожности лишиться последних остатков всего, что уже успел — мучительное признание! — утратить по собственной глупости и малодушию.

Поэтому целый день напролет я или лежу, как мумия, в постели, или тихо сижу в кресле — в позе такого оцепенения, что, несомненно, вызываю у врача неосновательную радость по поводу мнимой эффективности примененной ко мне системы лечения. Ночью я оживаю. Это чистейшая благодать, что меня в силу исключительности моего случая поместили в отдельную палату, где мне не может помешать сосед по койке.

С некоторыми трудностями было сопряжено получение бумаги и карандаша. Когда я при обходе робко попросил профессора снабдить меня письменными принадлежностями, он сначала как будто не собирался ответить отказом. Но старший врач многозначительно поднял брови. После того как они кратко посо-

вещались вполголоса, профессор посмотрел на меня с явным сожалением, в замешательстве почесал переносицу и начал пространно разъяснять, что я — по крайней мере в первые дни — нуждаюсь в абсолютном покое, в полном отсутствии какого бы то ни было напряжения. Необходимо абсолютное воздержание от всего, что могло бы напомнить мне привычки прежней жизни. Поэтому он не может взять на себя ответственность за нарушение примененной ко мне системы лечения, а такое нарушение может произойти, получи я доступ к книгам или письменным принадлежностям. Потом, дальше, — там видно будет (что касается «примененной ко мне системы лечения», то вся она — смешно сказать! — сводится лишь к ежедневной ванне и приему успокоительных таблеток).

Таким образом, мне не оставалось ничего иного, как самому добыть бумагу и карандаш. Короче говоря, я просто-напросто украл и то и другое, когда меня водили в рентгеновский кабинет на просвечивание черепной коробки. В погруженном во мрак кабинете один из врачей по неосторожности оставил на стуле свой блокнот, страницы которого были предназначены для заполнения их историями болезней. Я воспользовался мгновением, когда сестра и санитар стояли ко мне спиной, схватил блокнот и спрятал его под больничным халатом.

Огрызок карандаша я на ходу стащил с письменного стола старшего врача доктора Бендера. Это невероятно худой господин с очень мрачным взглядом, некое подобие Савонаролы, облеченного в халат врача. Подобно

тому как средневековый монах повсюду видел следы дьявола, доктор Бендер сразу чуял в любых проявлениях жизнедеятельности, самых невинных и естественных, то эдиповы комплексы, то сексуальные извращения, то манию убийства. Очень возможно даже, что он всех считает сумасшедшими, исключая себя, разумеется. То обстоятельство, что, несмотря на всю его подозрительность, я украл карандаш именно у него, доставило мне большое удовлетворение.

Психиатры имеют обыкновение писать очень подробные истории болезней. Поэтому в их блокнотах под печатными рубриками, вроде «Университетская психиатрическая клиника... Фамилия больного... Лечащий врач... Анамнез... Диагноз...» и тому подобными, остается большое незаполненное пространство. Мне посчастливилось украсть блокнот, в котором имелась сотня еще не использованных страниц. При моем угловатом, малоразборчивом, но емком почерке, типичном для научных работников, этих страниц вполне достаточно для изложения всей моей истории, такой необычайной и такой жуткой.

Может быть, я поступил бы правильнее, если бы ограничился лишь самыми существенными, конкретными фактами, вычислениями и наблюдениями — всем тем, что уже имелось в конфискованных у меня записях. Но, к сожалению, я слишком дотошный человек, склонен к чрезмерной обстоятельности — черта характера, которой я обязан как своей национальности, так и личному складу. Я имею основания предвидеть, что мое пребывание здесь несколь-

ко затянется, значит, меня ждут впереди бесконечные, нестерпимо мучительные ночи, если у меня не будет возможности трудиться над этой рукописью. Поэтому я и позволяю себе писать пространнее.

Однажды утром меня забрали из моего жилища в Грюнбахе — скромном местечке недалеко от города Х. За этим жалким спектаклем наблюдала толпа жадных до зрелищ зевак, обступивших дом. Каждый из них, несомненно, мог укрепиться в уверенности, что никогда не следует доверять приезжим, чужакам, поскольку я не был коренным жителем Грюнбаха. Место моего рождения — Хютцель, село в Люнебургской степи, а дата рождения — 17 ноября 1914 года. Согласно созвездиям, я принадлежу к скорпионам, которым приписывается характер тяжелый, нередко коварный. Незачем подчеркивать, что я, будучи по образованию и призванию естественником, ни во что не ставлю астрологию. О звездах я знаю кое-что иное, чем шарлатаны астрологи! Но, так как в нашей стране почти все газеты и журналы публикуют месячные, недельные и даже однодневные гороскопы, я мог бы указать моим недругам, что, сверх всего прочего, я еще и скорпион. Юмор висельника!

Замечу мимоходом, что как раз в то утро, когда меня забирали, я случайно увидел на листе газеты, в который заворачивал свои носки, очередной гороскоп. На текущую неделю он предсказывал скорпионам: «Вам предстоят приятные перемены! Вы на пороге путешествия. Обуздывайте, однако, ваш темперамент и воздерживайтесь от попыток пробивать стену

лбом!» Повторяю еще раз, это мне вспомнилось между прочим.

Иное дело — моя склонность к размышлениям, мечтательность, меланхоличность; свойства, которые — и не без основания — приписываются моим землякам люнебургцам. К этому предрасполагает, быть может, уже самый ландшафт моих родных мест, суровый и печальный. Как часто, еще мальчиком, садился я на вершине холма и долго, мечтательно глядел на древние-древние кусты можжевельника, такие темные и мрачные, рисовавшиеся на горизонте, подобно доисторическим надгробиям. Еще и поныне я со стесненным сердцем вспоминаю мою степь — и в ярком наряде первой весенней зелени, и в блекло-лиловых тонах осени, и в призрачных свитках бледных зимних туманов. То была еще степь без автострад, без грохота маневрирующих танков. А за последние недели мне даже приходила мысль, что существа, с которыми я установил связь, тоже живут в местах, похожих на Люнебургскую степь... Но об этом после.

Мой отец был скромным помощником лесничего. В первой мировой войне он лишился ноги, а вместе с ней и возможности бродить по любимым лесам. Это обстоятельство обрекло его на должность писца в управлении лесничества. Несмотря на угрюмый, ворчливый нрав, нередко ощутимо отравлявший жизнь и мне, и моей терпеливой матери, отец в глубине своего сердца по-настоящему любил нас обоих и заботился о нас. Когда мне пошел одиннадцатый год, он позвал меня как-то к себе в комнату и объявил, что я поеду в Люнебург и поступ-

лю там в гимназию, чтобы научиться чему-нибудь дельному и чтобы жизнь моя могла сложиться лучше, чем у него самого. Насколько трудно ему было при его нищенском жалованье найти средства на мое обучение, стало мне ясно лишь значительно позже. Его надежды на улучшение моей жизни оправдывались потом очень медленно, но это была уже не его вина, а моя.

Когда я получил аттестат зрелости, отец предложил мне избрать профессию учителя или священника. Говоря откровенно, у меня не было склонности ни к тому, ни к другому: для профессии учителя мне недоставало терпения, для роли священника — необходимой веры. Зато уже в первые семестры моего пребывания в Гамбургском университете я почувствовал сильное влечение к естественным наукам; особенно интересовали меня проблемы физики.

Мне удалось, преодолев некоторое противодействие со стороны отца и невзирая на материальные трудности и лишения, прослушать университетский курс, сдать после десяти семестров государственный экзамен *sum laude* * и защитить диссертацию на тему «О пределах измеримости электромагнитных волн». Мне кажется, что некоторые соображения и расчеты, опубликованные в этой работе, отличались новизной и поэтому возбудили в научных кругах кое-какой интерес, весьма скоро, впрочем, заглушенный в связи с бурными политическими

* С отличием (лат.). — Прим. ред.

событиями тех дней. Мою дальнейшую научную карьеру прервали на неопределенный срок начало второй мировой войны и призыв в армию (несмотря на очень слабую физическую конституцию и чрезвычайную близорукость). Последовала полоса моей жизни, о которой не хочется здесь распространяться. То, что я вообще уцелел, считаю счастливой случайностью. Дело ограничилось повреждением коленного сустава и глубоким шрамом на затылке. Старший врач доктор Бендер подверг сегодня этот шрам тщательному обследованию, задавал мне при этом бесконечное число вопросов и в заключение выразительно показал глазами профессору на мой затылок. Совершенно очевидно, что доктор Бендер льстит себя надеждой посредством этого злополучного рубца подвести меня под категорию лиц с мозговой травмой и найти таким путем объяснение всему.

Это так меня рассердило, что я не смог сдержаться и заметил ему: «Господин старший врач! Смею вас уверить, что именно эта травма как раз и способствовала моему полному и окончательному излечению от некоторых изъёнов в мозговой деятельности!»

Впрочем, это неважно...

Когда в 1946 году я вернулся из плена, отца уже не было в живых. Как мне рассказала мать, обрубок его ноги воспалился от постоянного трения о протез, что, кстати сказать, случалось и раньше. Однако теперь отца уже никто не мог больше удерживать на месте, и, вместо того чтобы сидеть в канцелярии, он снова принялся обходить лесные участки: ведь почти

все остальные мужчины были призваны! На воспаленное место попала инфекция, и он — давнишняя жертва первой мировой войны — перед самым окончанием второй погиб от общего заражения крови. После его смерти нас с матерью прогнали с казенной квартиры и я не нашел пристанища в родных местах.

По чистой случайности я оказался в конце концов около Грюнбаха; сердобольный крестьянин позволил мне, оборванному и опустившемуся, ночевать в его сарае. За участие в полевых работах он вознаграждал меня поношенными штатскими брюками и допустил к своему столу. Вот каким образом я осел в Грюнбахе. Невзирая на голод и на хаос, о которых наглядно свидетельствовали тогда и бледные лица людей, и развалины городов, ныне я все-таки вспоминаю то время как пору моих самых смелых надежд на что-то новое, на будущее, пусть суровое и трудное, но все же сулящее победу духовного, разумного начала.

Когда общая ситуация более или менее упорядочилась, мне удалось после многочисленных письменных обращений и долгих ожиданий получить место научного сотрудника в университетском институте соседнего города Х.

Теперь, после краткого очерка моей биографии, я перехожу к описанию событий, дальнейший ход которых — не известно, на какой срок, — прерван моим заключением в этой палате.

Задумываясь над вопросом, когда и из-за чего все это началось и с какого момента спокойное, даже слишком спокойное течение моих

дней постепенно уподобилось бурному вихрю, сразу вспоминаю вечер второго сентября: именно в тот вечер впервые зародился у меня в мозгу некий замысел.

Утром того памятного дня я, как обычно, съел свой скромный завтрак, состоявший из чашки чаю и хлеба с маргарином, и вышел без четверти семь из дому, чтобы вовремя успеть на службу в город. До него было около шестнадцати километров, и покрывал я их на велосипеде. Это обходилось дешевле автобуса и сделало меня независимым от расписания рейсов. Самый факт, что мне приходилось довольствоваться старомодным, уже почти смешным видом транспорта, ясно показывает, что кривая моего экономического благополучия поднималась вверх довольно слабо.

В институте в тот день все шло у меня по обычным рельсам. Из мрачных, требующих ремонта помещений мне было отведено наимрачнейшее, с видом на высокий, чуть не уходящий в поднебесье кирпичный брандмауэр и сваленные рядом тонны мусора. За исключением нескольких ясных летних дней, я не помню ни одного случая, когда я мог бы, проводя практические занятия со студентами, обходиться без искусственного освещения. Занимался я с группами студентов медицинского факультета, знакомя их при помощи допотопной аппаратуры с первоосновами экспериментальной физики, — работа монотонная и в конечном итоге дающая очень мало удовлетворения, работа кули от науки, и я выполнял ее вот уже девятый семестр. В перспективе начальство обещало мне должность более ответственную, даю-

шую право на чтение лекций, но это обещание могло осуществиться лишь после ассигнования финансовых средств на полную реконструкцию физического института в соответствии с требованиями современной науки. Однако в высших инстанциях с этим не спешили.

Изрядно уставший и ослабевший, как всегда к концу рабочего дня, около восьми часов я прикатил на своем велосипеде в Грюнбах. Был ясный вечер с пламенно-желтым закатом. Резким контрастом с сумрачными институтскими помещениями, где я провел целый день, была рыночная площадь Грюнбаха, залитая золотым, каким-то даже ослепительным светом. Свежевыкрашенные фасады домов, большие витрины недавно открытых магазинов производили здесь, в небольшом местечке с четырьмя тысячами жителей, впечатление искусственно раздутой роскоши, тщеславного подражания большим современным городам.

Но домик на окраине, который занимали мы, скорее напоминал средневековье. Казалось, что на его крошечных оконцах, тускло отражавших сейчас пламень заката, на его замшелой крыше и в трещинах ветхих стен отложили свой отпечаток минувшие столетия. Однако в противоположность моей жене меня эта древность и ветхость никогда не смущали. Более того, мне почти нравился ставший привычным затхлый запах в сводчатых сенях. Летними вечерами я любил сидеть в запущенном саду, где среди сорных трав высотой по колено цвели подсолнечники. Холмы и леса по ту сторону развалившегося забора, лента реки и на горизонте — далекие очертания города в

зыбкой голубой дымке, а главное — тишина... Нет! Было бы жестокой неблагодарностью утверждать, что наш домик и сад действовали на меня угнетающе. Как я уже упоминал, в этом я очень отличался от моей жены, которая постоянно внушала мне, что в наше время долго жить в подобных условиях нельзя, если не хочешь совершенно пасть в глазах друзей и знакомых и не собираешься окончательно отказаться от дальнейшего восхождения по социальной лестнице. Что и говорить, жить в городе было бы гораздо удобнее. Но откуда было нам при моем скромном месячном окладе добыть не одну тысячу марок для высокой квартирной платы, да еще с обязательной добавкой домовладельцу на восстановительные работы! На этот счет жена не могла дать мне никакого совета. Кроме всего прочего, здесь было еще и то преимущество, что занимали мы этот дом одни.

Мы взяли к себе и мою мать, отвели ей заднюю комнатку. Хотя она получала очень скромную пенсию, все же при общем хозяйстве это являлось для нас некоторым подспорьем. У нас с женой были в распоряжении две комнаты и кухня; повторяю, такими жилищными условиями я был вполне удовлетворен. Детей, к счастью, у нас не было: позволить себе эту роскошь мы не могли.

В тот вечер, как только я успел поставить велосипед в сени, навстречу мне вышла жена и взволнованно объявила, что сегодня к нам в гости собираются Нидермейеры. От них прибегал мальчик-посыльный и сообщил, что супруги будут у нас к восьми вечера.

— Деньги у тебя еще остались? — спросил я и тут же автоматически опустил руку в карман.

— На вино хватит, но ведь нужно еще хоть несколько сигар...

— Пусть уж хоть сигары-то он благоволит приносить с собой! — воскликнул я с раздражением, так как сам ради здоровья, а главным образом ради экономии курил не сигары, а трубку.

Жена поспешила за покупками, а я крикнул ей вслед, чтобы она забежала пригласить и провизора Кинделя. Теперь, мол, уж все равно!

Я умылся и вошел в гостиную, служившую мне и рабочим кабинетом. В угоду жене, придававшей большое значение внешним приличиям, я попытался, насколько это было в моих силах, навести здесь некоторый порядок. Меня-то самого вполне бы устроило, если бы книги и тетради остались лежать в беспорядке на письменном столе, потому что этот кажущийся беспорядок на самом деле был хорошо продуманным порядком. Точно так же я ничего не имел бы против, если бы моя рабочая куртка осталась непо потревоженной на спинке кресла.

Гости у нас бывали редко. Моих институтских коллег, равных мне по рангу, слишком затрудняло путешествие из города в Грюнбах, и, кроме того, они, естественно, предпочитали откликаться на приглашение сколько-нибудь влиятельных людей, которые могли быть им полезны. Пригласить кого-нибудь из профессоров я не отваживался, потому что до какой-то степени уже заразился убеждением жены

в нестерпимом убожестве наших квартирных условий. Вот почему супруги Нидермейеры и провизор Киндель оказались почти единственными гостями, которых мы у себя принимали.

Нидермейер был владельцем дома, где мы жили, и великодушно сдавал нам этот дом за сравнительно скромную плату. В починке крыши и водосточных труб — то и другое требовало неотложного ремонта — он, однако, наотрез отказал. Это, говорил он, уже больше не его дело. Спустя месяца три после нашего переезда в его дом хозяин как-то раз к нам заглянул — посмотреть, все ли в порядке. Я воспользовался случаем и, желая снискать его расположение, пригласил на стакан вина. Так возникли регулярные визиты.

И вот они уже здесь. Краснощекий господин Нидермейер, с легкой одышкой и хитрыми свинными глазками, хохочет так оглушительно, что всегда кажется: вот-вот, словно с перепугу, задребезжат все стекла в нашей небольшой комнате. Поверх округлого брюшка у Нидермейера всегда поблескивает золотая цепочка от часов. Его супруга тоже расфрантилась: она была сегодня в шелковом платье, и шелк трещал на внушительной округлости ее груди и на туго обтянутых бедрах. Обнаженные предплечья, глубокое декольте и маленькое круглое личико выглядели такими свежими и аппетитными, что напоминали выкрашенный в розовый цвет марципан. Было хорошо заметно, что в нашу честь, перед тем как идти в гости, она побывала у парикмахера: тот искусно превратил ее в светлую блондинку и соорудил из

завитых локонов высокохудожественную прическу. По сравнению с ней моя жена, в скромном платье, сшитом без помощи портного, выглядела трогательно скромно, и, когда в тот вечер я смотрел на ее открытые худые руки, на линию спины, будто готовой покорно склониться перед судьбой, на затылок с пучком каштановых волос и заглядывал в ее большие глаза, где застыло беспомощное и умоляющее выражение, я вдруг ощутил прилив острой жалости к ней. В тот миг я простил ей все упреки в свой адрес и даже почувствовал себя виноватым, будто в чем-то ее обманул.

Итак, я пригласил чету Нидермейеров сесть в новые кресла. Мы купили их совсем недавно в рассрочку по настоянию жены, и нам оставалось уплатить за них еще три взноса.

Жена вышла на кухню приготовить скромную закуску, а фрау Нидермейер, как обычно, принялась с тайным любопытством разглядывать наш потертый ковер, старомодный шкаф со стеклянными дверцами и прочие хотя и содержащиеся в безупречной чистоте, но никак не отвечающие требованиям современного комфорта предметы домашнего обихода и мебель. Часть этих вещей принадлежала еще родителям моей жены, часть — моей матери. Как всегда, она и на этот раз не показывалась гостям, оставаясь у себя в комнате.

Исключая затраты на вино и сигары, мне, собственно говоря, нечего было бы и возразить против этих приемов гостей, если бы Нидермейеры не выбирали для разговора таких тем, которые отводили нам с женой унижительную роль бессловесных слушателей.

— ...Теперь мода — отделывать ваннные комнаты черным кафелем...

— ...Один наш компаньон в городе говорит, что ездить в Италию выходит из моды; уважающие себя люди теперь ездят в Испанию. Необходимо самому посмотреть бой быков, чтобы потом поддержать разговор о нем в обществе. Если у нас дела и дальше пойдут столь же успешно, а на это есть все шансы, то в будущем году мы отправимся в Испанию.

— А мы будущим летом хотим съездить на родину мужа — в Люнебургскую степь. Там, должно быть, очень красиво... — робко заметила моя жена, и на щеках у нее вспыхнул румянец.

— Bravo! Вот это придумано в патриотическом духе! — воскликнул Нидермейер и хлопнул себя по ляжкам. Но фрау Нидермейер только скривила рот и посмотрела на мою жену так, словно та сказала какую-то скрытую непристойность.

Подобные разговоры не были для меня новостью, но в тот вечер я был так утомлен, что они начинали вызывать во мне почти физическую боль. Я молчал и тупо смотрел в одну точку.

Полосами синеватого тумана стлался над нашими головами сигарный дым. Я уже не следил за разговором, и поэтому у меня вдруг возникло ощущение, будто за столом сидят не люди, а куклы, механически разевающие и закрывающие рты и при этом не издающие ничего, кроме бессмысленных квакающих звуков. Мне казалось, я нахожусь среди автоматов, в каком-то условном мире, и только мрак

за прямоугольником окна представлялся суровой действительностью; оттуда, из мрака, в любое мгновение может грянуть ужасающий раскат грома, чтобы превратить в прах и квакающих кукол, и меня самого.

— Ваше здоровье, милый доктор! Что вы на это скажете? — как бы очень издалека донеслось до моего слуха.

Но я не сказал ничего, да и что я мог сказать, если совершенно не слушал разговора? Сделав над собой усилие, я подмигнул через очки и изобразил улыбку.

«Зачем вообще эти Нидермейеры к нам ходят? — подумал я с некоторым ожесточением. — Не потому ли, что им просто-напросто скучно дома? Или, быть может, Нидермейеру импонирует моя докторская степень и ему лестно заверять знакомых, что и он вращается в научных кругах? Ведь, помимо всего прочего, эти посещения отягощали наш скромный бюджет, и меня бесило, что из-за них мне приходилось отказываться от покупки самых нужных вещей, например книг. Однако моя жена не без основания утверждала, что еще хуже было бы восстановить Нидермейеров против себя. Во-первых, мы жили в их доме, во-вторых, Нидермейер был очень видным лицом в Грюнбахе, и, в-третьих, ходили слухи, что вскоре он будет избран в муниципальный совет. Действительно, по здешним масштабам его быстрое обогащение казалось сказочным: переселение из хибарки, которую ныне занимали мы, в новый особняк на рыночной площади знаменовало необыкновенный для Грюнбаха коммерческий успех оптового предприя-

тия Нидермейера по продаже кишок и кож. Кстати, пригласить нас с женой к себе, в свой новый особняк на площади, г-н Нидермейер почему-то не торопился. Дескать, обстановка еще не совсем готова.

Около девяти, с обычным для него опозданием на целый час, явился провизор Киндель, и я вздохнул с некоторым облегчением.

Он был в темном костюме и почтительно склонился перед дамами. Моей жене он презентовал небольшой букет цветов — этот человек строго придерживался этикета.

С господином Кинделем я познакомился, покупая в аптеке лекарства для моей больной матери. Он как будто производил впечатление сухого педанта, однако разобраться в нем до конца было не так-то просто. Взгляд его был неподвижен, будто затянут пеленой, но тем не менее он словно пронизывал насквозь. В продолговатом лице его было что-то баранье; волосы торчали ежиком. По внешности он мог показаться похожим на Дон-Кихота, если бы время от времени не возникала в уголках его большого тонкогубого рта какая-то неприятная складка. Появление этой черточки да еще странное мерцание, вспыхивавшее изредка на долю секунды в его ленивом взоре, предостерегали меня от слишком поспешных оценок этого человека.

Киндель тоже не был коренным жителем Грюнбаха, но сумел стяжать себе репутацию добросовестного и неутомимого труженика. К нему можно было обращаться за помощью в любую пору дня и ночи. В аптеке, где он работал провизором, царил образцовый порядок.

Кроме того, он был человеком набожным и в полную противоположность мне не пропускал ни одной церковной службы. В Грюнбахе все хорошо знали, что он уже шесть лет, стиснув зубы, терпеливо дожидается смерти владельца аптеки — веселого и отнюдь не благочестивого старичка, который уже давно перестал заниматься делами, всецело предоставил свою аптеку попечению провизора, зато был неутомимым посетителем ресторанов.

У меня вошло в обычай, ожидая в гости Нидермейеров, приглашать как бы в противовес им господина Кинделя, потому что провизор был все же человеком интеллигентным.

Однако в тот вечер и он не вполне оправдал мои ожидания. Не успел он войти, как фрау Нидермейер сразу же вовлекла его в оживленный разговор о новых увлечениях персидской экс-шахини. Все ли прочли последние «Иллюстрированные новости»? История с экс-шахиней так взволновала фрау Нидермейер, что всю ночь она почти не спала. Кстати, с большим сожалением ей приходится сказать господину Кинделю, что снотворные таблетки, которые она недавно приобрела у него в аптеке, не очень-то помогли. На следующее утро она чувствовала себя совершенно разбитой и страдала изжогой.

Итак, конца моим мучениям не было видно! Но вот Нидермейеры начали выдыхаться, возникла пауза, и Киндель ею воспользовался, чтобы спросить меня с легкой улыбкой на тонких губах:

— Ну, что нового в науке, господин доктор?

Благодарный за спасительный вопрос, я тут же заговорил с жаром, делая отчаянные попытки помешать собеседникам вернуться к излюбленным темам. У меня было при этом такое ощущение, будто я в поте лица силюсь прикрыть доской яму со стоячей водой, чтобы в ней больше не плескались и меня не окружала атмосфера угнетающей затхлости. Я быстро нашел исходный пункт для новой беседы.

Поразительные успехи советских ракет произвели огромное впечатление в научных кругах всего мира. Я тоже был ими захвачен. Казавшаяся до самого последнего времени утопической, неосуществимой проблема проникновения в космос; точные полеты ракет вокруг спутника Земли и передача на Землю фотоснимков ее обратной стороны, доселе недоступной человеческому взору; еще более смелые, головокружительные проекты на ближайшее будущее... Все это возбуждало во мне почти зависть и глубокую печаль, стоило мне вспомнить о ничтожестве моей собственной монотонной работы и о том, что мои давнишние мечты о научных исследованиях, так и не осуществившись, развеялись в прах. Разумеется, только специалист мог уяснить себе размеры трудностей, сопряженных с осуществлением этих научных задач, и оценить важность новых достижений, но я все-таки заговорил с моими гостями на эту тему, попытался дать им кое-какие разъяснения и постепенно воодушевился.

Когда я кончил, в комнате наступило неловкое молчание, а супруги Нидермейеры посмотрели на меня, как смотрят на человека, нарушившего приятную беседу совершенно

неожиданной и неуместной, почти оскорбительной выходкой. После долгой паузы господин Нидермейер откусил кончик сигары и снисходительно похлопал меня по плечу.

— Ну, хорошо, милейший доктор, хорошо... Может быть, оно все так и есть. Но меня, признаюсь откровенно, это интересует очень мало.

— И ты абсолютно прав, Йозеф, — одобрительно кивнула его жена. В ее голосе послышалась злоба, когда она принялась развивать свои удивительные взгляды на науку:

— Мне остается только поражаться, доктор, как вы всему этому можете верить. Я не верю ни капельки. Все — обман и пропаганда.

— Как? Однако, фрау Нидермейер!.. — вырвалось у меня, но моя собеседница не дала мне продолжать и заговорила с возрастающим ожесточением. Да, да, да! Ей-то ясно, что все это не более как обман. Ведь она же сама очень внимательно рассматривала Луну и увидела, что Луна самая обыкновенная, какой была всегда. Мало ли что можно утверждать, ссылаясь только на какой-то там дурацкий «пип-пип-пип»...

— Даже многие газеты попались на эту удочку, точь-в-точь как вы, доктор!

Свой главный козырь она приберегла под конец. Мол, она прочла, что один американский профессор — «настоящий профессор, прошу вас заметить» (эта шпилька была явно адресована мне) — придерживается в точности ее мнения. Ничего, кроме обмана и пропаганды!

Для моего ума, прошедшего научную школу, это было уж слишком, и, хотя жена бро-

сала на меня испуганные, предостерегающие взгляды, я тоже вошел в раж! Забыв, перед какой аудиторией нахожусь, я произнес пламенную тираду, выступил с целым трактатом о соотношениях астрономических величин, упомянул о светящемся натриевом облаке, выпущенном одной из первых советских ракет, и о радиосигналах, принятых всеми крупными научными институтами на Земле. В ракетах я смыслю мало, но передача сигнализации относится до некоторой степени к моей давнишней научной специальности. И я попытался объяснить, как такая сигнализация осуществляется. Может быть, и впрямь проявив бестактность, я спросил фрау Нидермейер, не воображает ли она, что разбирается в этих вопросах лучше, нежели все серьезные ученые мира, вместе взятые, из которых ни один не имеет на этот счет ни малейших сомнений, за исключением, конечно, того знаменитого в кавычках американского профессора, на чье мнение она ссылается. Как, кстати, фамилия этого профессора? Ах, вот оно что! Фрау Нидермейер ее не запомнила! Все ясно. Мне не стоит большого труда догадаться, чем знаменит этот господин и каковы его истинные цели!

Подтекст всей моей речи выражал гневное порицание, словно говорил я перед моими студентами, саркастически подчеркивая зияющие пробелы в их познаниях, вызванные леностью и скудоумием.

Когда я, почти задохнувшись, кончил, молчание в комнате было еще более гнетущим, чем после моего первого монолога.

— А вы что скажете по этому поводу? — попытался я найти поддержку у господина Кинделя

Но господин Киндель разглядывал свои ногти и улыбался.

— Если бы даже все это и было правдой, то каждый верующий христианин прежде всего должен задать себе вопрос: чему это на пользу? — Так дипломатически уклонился он от прямого ответа, причем на губах у него продолжала играть улыбочка, смысл которой было нелегко истолковать.

С тем же основанием можно было вопрошать, для чьей пользы понадобилось Копернику создавать свою систему мира, а Ньютону — делать свои вычисления. Вопрос о пользе и цели научных открытий прозвучал так безнадежно глупо, что я попросту умолк.

Расстроенный и рассерженный, я сидел и смотрел в окно, а разговор обратился к прежним темам. И снова мне казалось, что это лопочут куклы; только их механизмы работали теперь заметно быстрее, в квакающих звуках слышались нотки раздражения. Уют беседы был, видимо, нарушен уж до конца вечера; гости утратили свою непринужденность, и это обстоятельство, должен признаться, доставило мне злое удовлетворение.

Как сквозь туман, с полным безучастием воспринял я, что господин Киндель старается ухаживать за фрау Нидермейер в тех пределах, какие допускала его строгая и чопорная манера держаться. Сам Нидермейер сидел некоторое время молча, насупив брови, и, казалось, о чем-то напряженно думал. Вдруг он

изо всей силы стукнул кулаком по столу, так что из бокалов расплескалось вино.

— Вооружаться до зубов и не давать никакой пощады разлагающим элементам! Только это может гарантировать спокойствие и порядок!

Примерно такие слова выкрикивал он в сердцах, не очень связно, будто споря с кем-то невидимым, бросившим ему вызов. Выглядел он в ту минуту и смешно и глупо. Глаза остекленели — он выпил уже изрядно. На эти пропитыe деньги я смог бы купить по меньшей мере две книги из самых необходимых.

К счастью, Нидермейер тут же успокоился, откусил кончик новой сигары и, заикаясь, повел речь о своем компаньоне, который выстроил в Дюссельдорфе замечательный дом. Этот компаньон считает, что нынче вышло из моды вешать в гостиных копии знаменитых картин. Это уже считается вульгарным. Уважающие себя люди теперь берут под залог оригиналы старых и новых мастеров. Да, да, богатый человек этот дюссельдорфский компаньон! Но так ли уж обязательно брать картины под залог и развешивать у себя по стенам? Он сам, Нидермейер, вообще ни во что не ставит живопись. А каково на этот счет мнение господина провизора?

Единственным преимуществом этого вечера было, что гости ушли несколько раньше обычного. Нидермейеры вызвались довести провизора на своей машине, чего до сих пор они никогда не делали. В моем раздраженном состоянии я усмотрел в их предложении — сознаюсь, что неосновательно, — нечто вроде вне-

запно возникшей между ними солидарности, подобие тайного заговора, направленного против моей особы.

Я проводил гостей и, когда они уехали, постоял еще несколько минут в тишине ночи. Вселенная, темная и безгласная, вся испещренная бесчисленными звездами, величаво раскинулась над крышами Грюнбаха. Откуда-то издалека донесся глухой взрыв, и стекла в окнах зазвенели: километрах в тридцати от Грюнбаха происходили военные маневры.

Ежась от ночной прохлады и какой-то неясной тревоги, я поплотнее натянул пиджак. Внезапно я почувствовал себя одиноким и беззащитным, как никогда в жизни. Кто я? Путник, бредущий без цели в бесконечной черной пустоте.

Подобные настроения овладевали мною и раньше, но ни разу еще не достигали такой остроты, как в тот вечер. Может быть, эта тяжесть, как груда камней, накапливалась в моей душе постепенно, увеличиваясь каждый день на новый камень. И вот наконец груз сделался таким нестерпимым, что оставалось лишь два исхода: либо выбраться из-под него и убежать, либо быть раздавленным.

Я нарочно описал здесь так подробно свое окружение, свой относительно благополучный будничнейший мирок, чтобы стало яснее, почему я вдруг понял: больше так нельзя существовать, утешаясь самообманом. Визит Нидермейеров мог сыграть здесь роль капли, переполнившей чашу. Все безысходное убожество моей жизни — не столько материальное, сколько скорее духовное убожество — вдруг дошло

до моего сознания. Жизнь предстала передо мной как длинная череда серых, бесцветных дней, дней «ученого», которого никто никогда не принимал всерьез. И единственное общество — люди вроде Нидермейеров!

Не раз моя жена более или менее тактично убеждала меня попробовать переменить род занятий. Например, попытаться стать представителем фирмы технического оборудования — телевизоров, рентгеновских аппаратов, медицинских приборов — или поискать хорошо оплачиваемую должность в каком-нибудь промышленном предприятии. Действительно, докторское звание как будто могло придать мне известный авторитет в глазах представителей фирм и клиентов, однако я глубоко убежден, что никогда не сумел бы продать даже электрической бритвы. Уже при первом возражении покупателя я, наверно, тотчас откланялся бы и ушел. К этому надо еще добавить мои угловатые манеры и мало располагающую внешность. Мне достаточно было взглянуть в зеркало, чтобы заранее предсказать полную безнадежность такого рода начинаний. Я низкого роста, щуплый. Мои бледно-голубые глаза за сильно выпуклыми стеклами очков кажутся до смешного огромными и похожими на лягушачью икру под микроскопом. Волосы у меня неопределенного, серовато-белесого цвета; они упорно противостоят попыткам пригладить их щеткой. Добавьте к этому, что при малейшем волнении я начинаю безбожно шепелявить и что походка у меня из-за поврежденного колена несколько вихляющая... Нет, попытка была бы совершенно безнадежной.

В промышленных лабораториях, наверно, охотно воспользовались бы моими услугами, но известное высокомерие ученого препятствовало мне опуститься до исполнения практических лабораторных измерений и конструктивных усовершенствований на производстве, то есть до работ, имеющих единственной целью увеличить торговый оборот. Иными словами, мне претило трудиться ради куска хлеба и только. А для более почтенных занятий мне недоставало ученых титулов.

Что же давало мне право на подобное высокомерие? Увы, только моя докторская диссертация на тему «О пределах измеримости электромагнитных волн». Давно погребенная в пыльных архивах, она уже совершенно забыта. Поистине смешные претензии!..

Меня одолела черная меланхолия, безысходная горечь от сознания собственного ничтожества. Я устремил немой вопрошающий взгляд вверх, к звездам. И вдруг меня осенила мысль!

Сначала это была очень скромная мысль, которая могла хоть немного отвлечь меня от тусклой действительности, украсить мое безрадостное существование. В аналогичных случаях другие люди коллекционируют марки или выводят цветы. В тот вечер я действительно еще не подозревал, какие грандиозные, почти невероятные последствия возымеет все это в будущем. Вероятнее всего, я-и не отважился бы ни на что, знай я, чем это все кончится.

Итак, несколько утешенный, воротился я тихонько в дом, где жена убирала после гостей. В комнате отвратительно пахло застоявшимся

сигарным дымом, лампа тускло освещала пустые стаканы и бутылки, на скатерти краснело большое, уродливое пятно от пролитого вишневого ликера.

— Три бутылки красного, — сокрушенно сказала жена, — и вдобавок гости как будто обиделись. Тебе, может быть, не следовало...

— Оставь! — прервал я ее злобно. — В следующий раз хватит и одной бутылки. Деньги мне самому нужны.

В ту ночь я спал очень беспокойно. Страшные сны мучили меня. Будто я бегу по темным безлюдным переулкам, спасаясь от невидимых убийц. Потом я видел исполинского господина Нидермейера. Он издевательски хохотал, а я ползал перед ним на коленях, вымаливая марку. В конце концов я оказался в мрачной аудитории института физики перед судьями, которые по неизвестным причинам приговорили меня к пожизненному заключению. Я хотел протестовать, но председательствующий, одетый в черную тогу и слегка напоминавший провизора Кинделя, зазвонил в свой колокольчик и закричал: «Обжалованию не подлежит! Судебное заседание закрыто!»

Весь в холодном поту, я проснулся.

— Будильник прозвонил, тебе пора вставать! Уже шесть часов, — сказала жена.

2

Не обратил бы доктор Бендер как-нибудь поутру внимания на мои покрасневшие от напряжения глаза! Полоска света от фонаря

очень слаба, а у меня к тому же отобрали очки (чтобы я осколками стекла не перерезал себе вены. Кроме шуток! Нет, подобной услуги я им не окажу). Поверьте: при столь скудном освещении, наполовину спрятавшись под одеяло, очень нелегко исписывать эти листки моим торопливым, для всех других, несомненно, малоразборчивым почерком.

Досаднее всего тратить уйму времени на очинку карандаша. Он быстро стачивается со всех сторон. На беду, мне достался номер второй, очень мягкий. Номер третий или четвертый подошел бы гораздо лучше, но приходится довольствоваться тем, что есть. Поскольку я лишен каких бы то ни было инструментов — даже пилкой для ногтей я могу пользоваться лишь под неусыпным наблюдением персонала, — мне остается только обгрызать карандаш зубами; к счастью, они у меня еще довольно крепкие. Карандашный графит я точу о шершавый металл кровати. Бумагу и карандаш я прячу днем под матрасом. Укрытие как будто оказалось надежным, ибо больничный персонал явно не страдает повышенной любовью к чистоте: пока наш лысый санитар, человек с лицом мясника на пенсии, караулит у входа в палату, привалясь к двери, старшая медсестра с вечно обиженной миной разок-другой проведет щеткой по полу. Но дальше чем на пару сантиметров ее щетка еще никогда под мою кровать не проникала. Зато проявляет рвение доктор Бендер. С каждым новым днем подвергает он меня все новым обследованиям: ожесточенно доискивается следов мозговых опухолей, симптомов паралича, белой горячки и шизофрении.

Устремив на меня мрачный взгляд, задает бесконечное множество вопросов: не падал ли я в детстве на голову, не было ли в моей семье случаев самоубийства, не страдал ли кто-нибудь из моих родственников эпилепсией, алкоголизмом, не умер ли в сумасшедшем доме. К сожалению, я не могу доставить ему удовольствия, хотя и отдаю должное его отчаянным стараниям найти у меня конкретные признаки душевной болезни и таким образом задним числом оправдать мое пребывание в психиатрической больнице. Я почти боюсь, что постепенно пробуждаю в нем угрызения совести, и все же у меня хватает жестокости держать себя с ним неизменно приветливо, с веселой улыбкой; такое поведение постепенно все глубже повергает его в тайные сомнения насчет моей болезни.

Должен признаться, конечно, что веселая улыбка стоит мне подчас немалых усилий. Меня берет тихий ужас, когда сквозь стену доносятся крики настоящих сумасшедших или когда меня проводят мимо палат, где, прикованные к своим постелям, лежат слабоумные и через полуоткрытые двери мне бывают видны искаженные чудовищными гримасами тупые лица идиотов. Но я стараюсь возможно спокойнее воспринимать эти уродливые ошибки природы и в противоположность им думать о гармоничности гигантского мироздания, о дошедших до меня из мрака бесконечных пространств сигналах с далеких звезд.

Теперь я лишен возможности любоваться ими воочию, равно как внимать их далекому призыву и нести его людям — разве что лишь

через посредство немых страниц этой рукописи...

В свиданиях с близкими мне все еще отказывают. Но сегодня мне передали письмо. Оно было уже вскрыто, и, по всей вероятности, его содержание тщательно проверили. Я почти не сомневаюсь, что старший врач доктор Бендер вообще был против передачи мне письма и замолвил за меня слово профессор. Хотя до сих пор я видел его всего один раз при обычном обходе, однако какое-то чувство, никак не подтвержденное фактами, подсказывает, что профессор благоволит ко мне. В отличие от мрачного изувера доктора Бендера профессор — человек представительной и импонирующей наружности, с густой седой шевелюрой и красивым лбом; в его больших серых глазах светится ум. Кажется, ничто человеческое ему не чуждо, но в его взгляде видна усталость и ироническая покорность судьбе. Хотя без своего врачебного халата он, в противоположность мне, должно быть, выглядит элегантным светским господином с уверенными и изящными манерами, мне все же кажется, что по духу мы чем-то друг другу сродни.

Что касается письма, то и самый строгий цензор не нашел бы в нем ни малейшего повода для придирки. Почерк, которым оно написано, столь же четок и прост, как и несколько слов, составляющих его содержание:

«Мой дорогой сын! Я надеюсь, что ты чувствуешь себя хорошо и скоро возвратишься к нам. Твоя мать».

И все. Тем не менее письмо подействовало на меня так, что я, сжимая его в руке, некото-

рое время сидел на кровати и тупо смотрел перед собой.

Но пора продолжить мои воспоминания.

В дни, следовавшие за памятным вечером 2 сентября — вечером отчаяния, я настолько успокоился, что почти готов был отказаться от реализации возникшей у меня тогда идеи; более инертная сторона моего «я» как будто одерживала верх. Для оправдания своего отступничества в собственных глазах я внушал себе, что трудности окажутся еще большими, нежели это было в действительности. И что скажет моя жена насчет новых расходов? Короче говоря, я уж совсем было примирился с моим прежним прозябанием. Однако как-то вечером, сидя за письменным столом и заново остро переживая неприятность, случившуюся у меня в тот день в институте, я вдруг вскочил, точно подброшенный неожиданным приливом энергии, взял мой карманный фонарь и отправился на чердак.

К дому со стороны сада прилегал небольшой сарайчик для сена и конюшня, уже много лет не использовавшаяся по прямому назначению. Над сеновалом, всегда пустым, находился довольно обширный чердак с затянутыми густой паутиной балками каркаса, трухлявыми, но сухими досками, служившими полом, и с люком на заржавленных петлях; этот люк выходил наружу, и через него, вероятно, забрасывали сюда некогда сено или мешки с зерном. В очень старых домах помещения с таким устройством не редкость.

В одном из чердачных углов мы с женой поставили изъеденный червоточиной шкаф, для

которого у нас в жилых комнатах не хватило места. В шкафу я держал часть своей обширной библиотеки, чтобы хоть немного разгрузить от книг наше жилище. Вместе с книгами в шкафу на чердаке были свалены еще разные аппараты и приборы, проволока, радиолампы, катушки, конденсаторы и тому подобное. Кроме шкафа, на чердаке находилась также кое-какая старая мебель, ни на что больше не нужная: шатающийся стол, диван-инвалид и старинное дедовское кресло с вылезавшей из него морской травой.

Когда несколько лет назад мы здесь поселились, я в пылу первого восторга по поводу обретения собственного домашнего очага нескананно обрадовался этому чердаку и сделал там временную электропроводку, чтобы оборудовать маленькую лабораторию для физических опытов. Но с течением времени благое намерение мало-помалу заглохло под грузом повседневных забот, и теперь, спустя несколько лет, все очутилось в том состоянии почти зловещей заброшенности, какое присуще пустующим помещениям и предметам, которыми уже давно никто не пользуется. Они словно враждебно настораживались, сопротивляясь попытке нарушить их долгую спячку и извлечь снова на свет божий.

Луч карманного фонаря скользнул по пыльной паутине, осветил матово блеснувшую застекленную дверцу шкафа, за которой ржавели мои аппараты и инструменты. У некоторых книг мыши объели переплеты... Словом, зрелище было печальное.

В тот же вечер я починил на чердаке электропроводку и с помощью метлы и совка навел некоторый порядок.

Когда на следующий вечер при сильной электрической лампе я произвел осмотр аппаратов и приборов, все выглядело уже значительно веселее. К сожалению, я тут же выяснил, что для осуществления моего замысла многого недостает. Прикинув необходимые затраты, я пришел в ужас. Да, видимо, все это будет стоить очень дорого!

Я вытащил из шкафа экземпляр моей докторской диссертации. Бумага пожелтела, покрылась пятнами, а когда я пробежал глазами колонки цифр и вычисления, мною овладела тихая грусть. Как давно все это было, как далеко вперед ушли с тех пор наука и техника! И все же я пришел к выводу, что некоторые из моих тогдашних соображений даже и в свете новейших исследований не утратили значения и им до сих пор было уделено незаслуженно мало внимания. Это преисполнило меня таким удовлетворением и гордостью, что я уселся, как на трон, в ветхое дедовское кресло и скрестил руки на груди с видом победителя. Непризнанный гений в одиночестве на пыльном чердаке! Жалкий комизм ситуации был столь явен, что я и сам минутой позже уже кривил рот в иронической усмешке, не лишенной горечи.

Но, как ни странно, именно с той минуты мой замысел, тогда еще очень скромный, был спасен. Ведь нашему брату ученому только стоит зацепиться за идею, что называется, лизнуть парочку формул — наподобие того как лев пробует кровь, — и мозг начинает сам ра-

ботать над решением поставленной проблемы. Стиснув зубы и упорно преодолевая препятствия, человек начинает двигаться к поставленной цели, если только он еще не окончательно сломлен жизнью, а я, несмотря ни на что, все еще не казался побежденным. Эти соображения утешили меня до такой степени, что, ложась в ту ночь спать, я даже тихонечко на-свистывал, а потом сразу уснул и спал так крепко и хорошо, как давно не бывало.

Конечно, я мог бы заняться своими опытами и в институте, где, несмотря на устаревшее оборудование, в моем распоряжении было бы все-таки больше вспомогательных средств. Но, во-первых, для проведения задуманных опытов очень неблагоприятны условия большого города с его многочисленными помехами, такими, как трамвай, троллейбус, электролинии, ионизированные, насыщенные дымом и чадом слои атмосферы и прочее. Во-вторых, я боялся обратиться за необходимым разрешением к институтскому начальству и с первых шагов придать моему начинанию широкую огласку. Наконец, в-третьих, мне пришлось бы тогда или оставаться ночевать в институте, или возвращаться к себе в Грюнбах глубокой ночью, чтобы поспать хоть несколько часов. Подобная жертва представлялась мне несоразмерно большой сравнительно с моими тогдашними намерениями. Взвесив хорошенько все эти обстоятельства, я предпочел чердак.

Прежде всего нужно было обзавестись антенной особой конструкции, а именно вращающейся во все стороны установкой определенной кривизны и таких размеров, какие допус-

кало предельное расстояние между стропилами и полом. Если использовать люк в потолке, через который в старину валили сено в конюшню, и кое-где спилить мешающие доски, место для антенны получалось изрядное. (Эскиз первого, еще довольно примитивного устройства имеется в конфискованных у меня записях.) Я сделал чертеж антенны, но вскоре убедился, что моего слесарного умения для ее изготовления не хватит, тем более что и соответствующих инструментов у меня не было. Заказать антенну в городе было бы слишком дорого, а вдобавок пришлось бы оплатить и транспорт. На велосипеде такую махину не привезешь — слишком громоздка...

Шагах в ста от нашего дома, не более, жил некий человек, о котором никто хорошенько не знал, откуда он и чем занимается. Жил — это, пожалуй, слишком сильно сказано, правильное сказать — ютился в помещении бывшей кузницы, хозяин которой давным-давно умер. Кузницу еще не снесли, потому что наследники, владельцы участка, жившие за границей, запросили с магистрата непомерную сумму в виде компенсации, а кроме того, еще ничего не получив, никак не могли столковаться о разделе ее между собой.

Нынешнего обитателя заброшенной кузницы все это очень мало касалось. Ни у кого не спрашивая позволения, он просто-напросто там поселился, завел во дворе пару кур и, вероятно, пользовался также оставшимся в кузнице оборудованием, когда оно ему требовалось. Я уверен, что муниципальные власти при-

мирились с его самовольным вселением исключительно из тайной неприязни к наследникам, доставлявшим им столько неприятностей. Все больший упадок их владения, видимо, был властям на руку.

Впрочем, тем и исчерпывались милости, оказанные муниципальным управлением этому безродному Янеку; во всем прочем на эту персону смотрели очень косо, почти с нескрываемой враждебностью. Еще не тронутые сединой, черные как смоль волосы, густые брови и оливковый цвет худого, морщинистого лица придавали внешности этого человека что-то чуждое, инородное. Его часто можно было видеть на улицах городка. Засунув руки в карманы живописно заплатаемых штанов, он шагал всегда, вытягивая голову вперед и наклонив ее так низко, словно искал под ногами что-то оброшенное. Если при этом ему случалось взглянуть на встречного, последний почти пугался выражения его черных глаз — выражения скорби и в то же время ожесточенного упрямства.

Этот тип — настоящий бродяга. Не известно еще, какое у него прошлое. Выслать бы его отсюда! — так высказывался господин Нидермейер. А по сведениям провизора Кинделя, Янек был человеком без подданства и притом якобы уроженцем земель бывшей австро-венгерской империи — не то из Хорватии, не то из Триеста.

Средства к существованию Янек добывал случайными работами и слыл превосходным мастером. На нашем доме, например, он за очень умеренное вознаграждение починил крышу и водосточные трубы. Молча, с угрюмым

выражением на лице съел он у нас на кухне тарелку супа, предложенную ему моей женой.

«Он смотрит на тебя так, словно собирается убить. Жуткий человек! Я очень обрадовалась, когда он ушел!» — говорила потом моя жена.

Так как никакого другого мастера я не знал, то и обратился теперь к этому самому Янеку. Я застал его во дворе перед кузницей. Он сидел на камне, погруженный в глубокую задумчивость.

— Здравствуйте, господин Янек! — воскликнул я подчеркнуто весело. — Я хотел бы предложить вам одну работу. Только дело трудное, не знаю, справитесь ли.

— Какой такой работа? — спросил он, явно недовольный, что его потревожили, и сплюнул прямо к моим ногам.

— Видите ли, мне вот понадобилась такая замысловатая штука... — начал я объяснять и развернул перед ним мой чертеж.

Янек нахмурил брови. Выражение, появившееся в его темных глазах, истолковать было нелегко. А я между тем пустился в подробности, водил пальцем по линиям чертежа и старался объяснить сущность дела возможно точнее и проще, на уровне понимания такого примитивного человека, каким я считал Янека.

— Хорошо, довольно. Я — все понимать, — внезапно прервал он меня нетерпеливо, даже почти грубо.

— Что ж, прекрасно. Как хотите. — Я обиженно пожал плечами.

Янек задержал на мне взгляд, и на его худом лице мелькнуло нечто вроде насмешки. Жилистая, оливкового цвета рука прошла по

деталям чертежа. «Это быть как парабола. Из какого материала вы хотите?»

— Разумеется, это параболическая кривая, — пробормотал я, пораженный. — В качестве материала годится алюминий. Но... откуда... вы

Янек без всяких церемоний взял у меня из руки чертеж. «Дайте сюда. Я вам сделать. Я знаю, где есть дешево алюминий. Когда быть готово?»

— Как можно скорее.

Я вручил Янеку деньги на материал, и он, не пересчитывая, небрежно сунул их в карман.

«Малый ведет себя, как миллионер», — подумал я. Своей манерой держаться он поверг меня в такое смущение, что я даже позабыл спросить, сколько он возьмет за работу, и в последующие дни вопрос этот меня немного беспокоил.

Вечером четвертого дня Янек привез на старой тачке — Наверное, оставалась в кузнице от прежнего хозяина — готовую антенну. Чтобы сделать ее в такой короткий срок, он, безусловно, должен был работать день и ночь. Работа была выполнена поразительно чисто, строго по чертежу. Поистине произведение искусства.

— Но ведь это же превосходно, Янек! — воскликнул я в восхищении. А он лишь отмахнулся и тут же вытащил из кармана две смятые кредитки: «Я не все деньги тратить на материал».

Я не осмелился спросить, откуда ему удалось достать алюминий так дешево. В конце концов это меня и не касалось.

Янек помог мне поднять на канате части

антенны через люк на чердак; я невольно подивился силе и ловкости, которые было трудно и предположить в этом обычно медлительном и вялом человеке.

Наверху мы собрали антенну из отдельных частей, и каждая часть пришлось к другой безупречно. Чтобы антенна легче вращалась, Янек поставил ее на подшипниках. Вероятно, он добыл их с какого-нибудь списанного грузовика. И вот она совсем готова! Ее тускло поблескивающий металлический экран напоминал гигантский глаз фантастического насекомого, и вся в целом она производила почти пугающее впечатление. Это сферическое зеркало, подобно уху, должно было вслушиваться в космос. Разумеется, в крупных обсерваториях есть куда более мощные «уши» такого рода; по сравнению с ними моя антенна была смехотворно крошечной. Но я надеялся хотя бы частично компенсировать этот недостаток высокой чувствительностью моей приемной аппаратуры.

Я спросил у Янека, сколько должен ему за работу.

— Сколько дадите, — ответил он равнодушно и, принимая деньги, опять не пересчитал их.

С делом было покончено, но Янек не торопился уходить; он косился на аппараты, находившиеся на чердаке, и вдруг показал в улыбке свои еще очень красивые зубы. Впервые я увидел Янека улыбающимся; немного жутковатая, какая-то волчья улыбка.

— Это интересно, — проговорил он. Но лицо его тут же снова стало угрюмым.

— Если вам еще что-либо понадобится, мне сказать. Добрая вечер. — И он ушел.

Провозившись несколько ночей над расчетами, я приступил затем к конструированию приемника. При этом я исходил из некоторых положений, уже имевшихся в моей докторской диссертации «О пределах измеримости электромагнитных волн», внося в них коррективы в соответствии с новейшими достижениями науки. С позволения нашего библиотекаря я приехал к себе домой из института целый чемодан научных книг на интересовавшую меня тему. К сожалению, некоторые из них уже несколько устарели, но на худой конец годились и они.

В принципе — я решил использовать некоторые явления ядерного резонанса как средства для достижения чрезвычайно высокой избирательности, с одной стороны, а с другой стороны, для предельного повышения чувствительности. Впрочем, на подробное описание не хватило бы всего моего запаса бумаги. Все расчеты и кривые находятся в отобранных у меня тетрадях номер семь и восемь; приемное устройство описано в тетради номер двенадцать.

Естественно, что на первых же порах мне пришлось убедиться, как далеко вперед ушли наука и техника. Теперь к услугам исследователей имелись такие аппараты и приборы, о каких не могло быть и речи во времена, когда я писал мою диссертацию. Существовали уже специальные лампы для ультракоротких волн высочайшей чувствительности, кристаллические приборы такого качества и с такой частот-

ной избирательностью... Одним словом, между техническими средствами, которые могла бы предоставить в мое распоряжение современная наука, и теми, что существовали во времена моей диссертации, была приблизительно такая же разница, как между автомобилем и извозчичьими дрожками. Но увы! Все эти современные полезнейшие вещи стоили недешево.

Просить денег у жены я больше не отваживался. Хотя не так давно она и выделила мне небольшую сумму из денег, отложенных на хозяйство, не спросив меня даже, на что они понадобились, но при этом в ее взгляде был такой укор, словно у нее зародилось подозрение, не беру ли я деньги на тайную любовную связь. Так я сразу же застрял с моей затеей и не знал, что делать дальше.

Быть может, это вышло случайно... Чтобы оправдаться в собственных глазах, я должен уверить себя, что поступил тогда без заранее обдуманного намерения... Как бы там ни было, в один прекрасный вечер я зашел в комнату матери.

Я уже говорил, что жила она у нас, иногда и обедала с нами, но предпочитала вести свое маленькое хозяйство отдельно.

— Молодое со старым плохо уживаются, — говаривала она.

Поэтому большей частью она сидела одна в своей комнатке, трудилась над каким-то вязаньем из шерсти, которое, наверное, ей не суждено было закончить, или подолгу смотрела в окно, словно видела за ним вдали Люнебургскую степь и дом, в котором мы некогда жили. Скупая на слова, отяжелевшая с воз-

растом старушка, похожая на крестьянку. Ее седые волосы всегда немного растрепаны, огрубевшие руки изрыты прожилками и обезображены подагрой. Уже много лет она страдала от отека ног — еще причина, почему она редко выходила из дому. Когда мы принимали гостей — чету Нидермейеров и провизора, она никогда в этом не участвовала. И хотя мы этого не высказывали и если бы нас в этом упрекнули, то с жаром отрицали бы, но и жена и я в глубине души были рады затворническому образу жизни моей матери. Для маленького мирка Грюнбаха, где придавалось много значения всему внешнему, моя мать была, что называется, не аванжна. Представить ее сидящей рядом с Нидермейерами? Нет, это невысказано! Проще говоря, мы немного стыдились моей матери.

Когда я вошел к ней в комнату и осведомился, как сегодня ее ноги, она ответила не сразу. Потом вдруг посмотрела на меня — мутным от старости, почти уже потусторонним, но все еще пронизательным взглядом — и проговорила:

— За последнее время ты что-то очень побледнел и осунулся.

— Это потому, что мне теперь редко приходится бывать на солнце. Утром и вечером, когда я еду на велосипеде, солнышко плохо греет, — ответил я, улыбнувшись.

— Нет, ты очень плохо выглядишь, — настаивала она с упрямством старости, — гамбургский туман тебе положительно вреден.

— Но, мама! Разве мы в Гамбурге? — возразил я.

За последнее время у нее нередко все в голове мешалось, настоящее перепутывалось с далеким прошлым. Еще одна из причин, почему маме не хотелось, чтобы она бывала на людях.

— Ах, да! Ну, правильно, — сообразила она и склонила голову набок, словно прислушиваясь к отдаленному голосу.

— Значит, у тебя какие-то заботы. Может быть, тебе нужны деньги — внести плату за учение? — спросила она, помолчав.

Этот вопрос она задавала мне довольно часто. Вероятно, для ее сознания время замерло на годах, когда я кончал в Гамбурге первые семестры.

Как обычно, я ответил отрицательно:

— Что ты, мама! Денег мне хватает.

Возможно, на сей раз мой ответ прозвучал недостаточно естественно или она с присущим ей материнским ясновидением что-то почувствовала. Старики ведь нередко отличаются удивительной проницательностью. И она настаивала на своем, почти насильно заставила меня открыть шкаф и достать из-под старой одежды кисетик с вышитой бисером розой. Она раскрыла его трясущимися пальцами, и на колени ей высыпались — гранатовая брошка, пожелтевшее сложенное письмо и медальон с моей детской фотографией. На самом дне оказалось девять банкнот по пятьдесят марок.

— Вот возьми! Собственно говоря, я отложила эти деньги на свои похороны, чтобы избавить вас от лишних расходов. Но как знать, может быть, я умру еще и не очень скоро и ты успеешь их когда-нибудь вернуть, — уговаривала меня мать.

И после некоторого колебания я взял у нее деньги с твердым намерением при первой же возможности вернуть долг. Так или иначе, но взял. Взгляд мой упал на увеличенную фотографию отца, висевшую на стене у окна, и мне почудилось, что бородатый человек в мундире государственного лесничего смотрит на меня с фотографии строго и осуждающе. Зато теперь мой план был окончательно спасен.

На следующий вечер я возвратился домой с портфелем, переполненным конденсаторами и специальными электронными лампами. Некоторые сложные детали, которых не было в продаже, тайком изготовил мне за особую плату наш институтский стеклодув, человек ловкий и дельный.

Две ночи подряд я без усталости работал плоскогубцами и паяльником. В результате все было готово.

Во всех моих блокнотах дата 28 сентября и все записи, сделанные в тот вечер, подчеркнуты красным. Но я подчеркнул их лишь значительно позднее, потому что 28 сентября еще не мог подозревать, какие последствия будет иметь для меня этот вечер. Я помню его до мельчайших подробностей, как будто все происходило вчера.

После ужина, около восьми часов, я поднялся на чердак. Жене сказал, что мне еще нужно немного поработать; сама она хотела лечь пораньше: целый день занималась стиркой и очень устала.

Я проверил еще раз схему и проводку, а затем включил ток, чтобы убедиться, все ли в порядке. От одного сопротивления, предназ-

наченного для стабилизации тока, запахло жженым, но он выдержал. Я произвел еще некоторые дополнительные измерения. По моим расчетам, аппаратура как будто должна была отвечать поставленной цели. Мне очень захотелось, не откладывая дела в долгий ящик, сразу устроить нечто вроде генеральной репетиции, хотя в тот вечер, собственно, ничего особенного ждать не приходилось. Чтобы разогнать едкий запах горелого и немного сориентироваться в выборе направления — в то время у меня еще не было угломерного прибора, — я распахнул чердачный люк.

В отверстие глянуло ясное звездное небо. Несколько минут я наблюдал мерцающие точки на черном бархате бездонных просторов Вселенной, и тоскующая фантазия перенесла меня в бесконечный космос, полный тайн. Ведь и эти таинственные врата уже начинают понемногу приоткрываться! Меня вдруг снова охватило чувство завистливого восхищения при мысли об ученых, работающих над осуществлением поистине величественных задач, и о себе — в сравнении с ними жалком черве, ползущем во прахе.

Ведь я же не ставил перед собой никакой иной цели, кроме приема и регистрации посредством своей установки сигналов советских ракет. Я хотел стать, если можно так выразиться, «гостем за оградой», скромным участником самого грандиозного научного эксперимента в истории человечества. Пусть мне удалось бы достичь немногого, но все же в случае удачи для меня по крайней мере открывалась возможность заявить тем же Нидермейерам

с злорадным торжеством: «Вот вам ваш мнимый обман! Теперь можете сами, своими ушами услышать пип-пип-пип, который казался вам таким бесполезным!»

А в самой глубине души я лелеял иные, более дерзновенные мечты. Конечно, то, к чему я приготовился, уже делали бесчисленные на всем земном шаре радиолюбители, не говоря о специальных крупных научных обсерваториях. Но ведь могло же случиться, что мои наблюдения благодаря оригинальной схеме приемной установки окажутся особенно ценными, внесут новый, пусть даже и самый крошечный вклад в дело научного прогресса. В дальнейшем, может быть, будет даже иметь смысл послать отчет в Москву, в Академию наук СССР, из чего сможет развиваться интересная научная переписка... Но, повторяю, пока это все оставалось не более как мечтами.

Я вернулся к созерцанию созвездий. Прямоугольный, будто вырезанный кусок северного небосвода открывался моему взору с редкой чистотой и ясностью. К сожалению, слушать сейчас было нечего, так как в тот момент новых ракет в полете не было. Последний советский спутник уже прекратил свои передачи, а попытки американцев, предпринятые за последнее время, в большинстве заканчивались неудачей. Правда, один из спутников, запущенных американцами, еще летал, но он был слишком мал, обладал очень слабым передатчиком и направление его орбиты было для меня исключительно неблагоприятно, поэтому на прием его сигналов у меня не было почти никакой надежды.

Все же я надел наушники, чтобы проверить, насколько мне удалось устранить атмосферные помехи. Как я и ожидал, ничего не было слышно, кроме слабого шороха и потрескивания. Потом послышались те перемежающиеся тона, происхождение которых кроется в ядерных космических процессах. Эта своеобразная «музыка сфер» связана с такими явлениями, как звездные взрывы или процессы, происходящие в скоплениях космических газов и пыли. Я вертел ручки настройки до тех пор, пока все эти шумы окончательно исчезли. И тогда в наушниках не осталось ничего, кроме какой-то глухой тишины. Мне стало чудиться, будто я вслушиваюсь в космос сквозь черное отверстие чудовищной глубины. Мне удалось выбрать очень узкий диапазон частот, свободный от помех и посторонних шумов. Итак, аппаратура работала как будто исправно, я остался доволен. Просто ради спортивного интереса я медленно вращал антенну, словно ощупывая небосвод. И только было я снял наушники, как вдруг на какую-то долю секунды в них прозвучал странный певучий звук. Почти неуловимый, он прозвенел так, будто откуда-то, из бездонной дали, донесло на миг комариный писк. Немного погодя писк повторился и звучал уже чуть отчетливее, потом снова надолго пропал.

Сначала меня взяло сомнение: в самом ли деле я что-то уловил? Может быть, это обман слуха или игра воображения? В таких случаях исследователь обязан проявить терпение, все основательно проверить. С величайшей осторожностью я изменил частоту, положение ант-

тенны. Провозился почти целый час — безрезультатно.

И наконец, уже около полуночи, я снова услышал эти звуки. Жужжание, звон, то короче, то дольше, иногда с переменной тона... Нет! Как ни слабы они, это, несомненно, сигналы!

Механически я взял карандаш и зафиксировал на бумаге время, частоту, предполагаемое направление и стал черточками отмечать принимаемые сигналы. Но не прошло и пяти минут, как опять все замолкло, и на этот раз окончательно. Возникли помехи, словно в отверстие, через которое я слушал, налили воды и она смыла таинственные звуки. В ту ночь не имело смысла продолжать эксперимент.

Я снял наушники и посидел спокойно в кресле, обводя взглядом свою установку, старый шкаф, смутные тени стропил и четырехугольный кусок звездного неба в открытом люке. Как сказано, я тогда еще не догадывался ни о чем, но теперь мне кажется, что уже в тот момент испытал в душе некое странное чувство, словно повеяло на меня жутковатой тайной. Что же такое это было, в конце концов?

Может быть, Советский Союз снова послал в космос новую ракету, скажем для исследования Марса или Венеры? Запуску таких ракет обычно не предшествовала рекламная шумиха в отличие от американских ракетных стартов; у американцев, как правило, предварительная реклама и гром литавр намного превосходили результаты. Нет, это не могли быть сигналы с американской ракеты: судя по газетам, ближайший запуск ракеты в США намечался лишь через неделю.

Немногочисленные короткие и длинные черточки, которые я успел зафиксировать на бумаге, представляли собой явно недостаточные данные для исследователя. Ракеты посылали в эфир зашифрованные сигналы, и прочесть их можно лишь при помощи специальной аппаратуры. Не наткнулся ли я случайно на одно из тех странных «окон» в космосе, о каких сообщал недавно советский ученый профессор Седов, вызвав своим сообщением сенсацию в научном мире? Через эти каналы, по которым радиоволны могут почти беспрепятственно распространяться на огромные расстояния, удалось передать фотоснимки на дистанцию 500 000 километров с помощью лампы мощностью всего два с половиной ватта. Не без чувства гордости я установил, что моя схема гарантирует максимальную защиту от помех, возникающих в результате электрических разрядов в атмосфере и иных причин. Частота услышанных сигналов относилась к диапазону ультракоротких волн, преодолевающих громадные расстояния.

Размышляя над всем этим, я внезапно ощутил холод ночи, проникавший сквозь люк в потолок. Зябко поежился, выключил установку и закрыл люк. Было уже далеко за полночь.

На следующее утро во время завтрака я попросил жену включить приемник — хотел послушать последние известия. Обычно я предпочитал завтракать в тишине.

Диктор читал пространное разъяснение правительства о причинах, побудивших его увеличить налоги для целей обороны. При этом речь зашла и о ракетах, но только военных.

О новых советских исследованиях мирового пространства — ни слова. Я переключил на Лейпциг. И тут тоже ничего. Это было странно.

— Да что с тобой творится? Что ты делаешь? — закричала жена. Я спохватился при попытке помешать чай ломтем хлеба с маргарином.

— Ничего, это пустяки, — сказал я и чихнул.

— Ты простудился и схватил насморк, — укоризненно заметила жена.

— Как будто так, — кивнул я задумчиво, снял очки и отер носовым платком покрасневшие, слезящиеся глаза.

3

Сегодня под вечер, когда я уже лежал в постели, мне нанес неожиданный визит профессор. Его сопровождали старший врач доктор Бендер и сестра.

Профессор бегло просмотрел кривую температуры, которая, разумеется, оказалась у меня совершенно нормальной, и другие записи на больничном листке, поданном сестрой. Затем попробовал пульс, приподнял веко и задал несколько вопросов мне и доктору Бендеру. Все было выполнено настолько быстро и настолько по установленному трафарету, что я сразу понял: это делается лишь для проформы, и у профессора нет ни намерения, ни надежды обнаружить в моем состоянии что-либо особенное.

В каких-нибудь пять минут он покончил с процедурой, и сестра уже направилась в следующую палату. Однако профессор задержался и бросил на меня такой взгляд, словно на языке у него вертелся еще какой-то вопрос. Я сделал почти произвольную гримасу и едва заметным кивком головы показал на доктора Бендера. Поджав губы, доктор как раз выискивал что-то в своем блокноте. Исход осмотра, видимо, совсем не удовлетворил его. Мимолетный взгляд профессора мог быть и случайностью, но чувство подсказало мне, что он понял меня правильно.

— Дорогой коллега, — обратился он к доктору Бендеру в тоне любезно-непринужденном, но в то же время не допускающем никаких возражений, — позаботьтесь, пожалуйста, чтобы буйного маньяка из десятой палаты подготовили для шока. Я сейчас же приду сам; мне хочется там присутствовать.

Старший врач вышел, бросив перед тем на своего шефа вопросительный, укоряющий взгляд, как будто в душе он глубоко осуждал его за риск остаться наедине с таким опасным сумасшедшим, как я. Профессор закрыл за ним дверь. Я уже знал, что такой поступок необычен для здешних условий, и усмотрел в нем лишнее доказательство, что профессор отнюдь не считает меня опасным.

Заложив руки за спину и нахмутив брови, он раза два прошелся взад и вперед по палате, словно подыскивая нужные слова. Вдруг он сел на край моей койки, положив ногу на ногу, и, не отрывая взгляда от носка своего блестящего черного ботинка, проговорил:

— Мой дорогой доктор Вульф! Мне хотелось бы очень коротко обсудить с вами кое-что.

— Пожалуйста, прошу вас, — подбодрил я его с улыбкой.

— Видите ли, в чем дело, — начал профессор, — ваш случай — трудный случай. Может быть, не столько с медицинской точки зрения, сколько совершенно в ином смысле. Я надеюсь, вы меня понимаете? — Тут он с гневом и отвращением махнул рукой. — Но, к сожалению, сам я ничего изменить не могу. Короче говоря, можно найти основания, чтобы выписать вас отсюда поскорее. Предположим, ваше заболевание явилось просто кратковременным психозом, который был вызван переутомлением, перенапряжением нервной системы. В таком состоянии человеком часто могут овладевать навязчивые идеи. После продолжительного отдыха и трезвого размышления эти психические явления бесследно исчезают. Я даже постарался бы принять меры к тому, чтобы возбужденное против вас судебное дело в связи с дисциплинарными нарушениями по службе начальство попросту заменило вам длительным лечебным отпуском, а тем временем страсти улеглись бы.

Я улыбался и молчал.

Немного нервничая, профессор изменил позу и снова заговорил:

— Вы со мной согласитесь, господин доктор Вульф: бывают научные заблуждения, с которыми специалист настолько сживается, что безнадежно в них вязнет, как муха в банке с вареньем. Никто не знает этого так хорошо, как я. Не ваш ли это случай? Я смог ознако-

миться с некоторыми вашими записями... Из медицинских соображений я энергично настаивал на своем праве получить доступ к материалам, которые были у вас отобраны. Ну, что ж, все это действительно очень интересно, хотя и выглядит слишком фантастическим, даже невероятным. Но судить об этом не берусь, потому что не специалист в данной области. Поверьте, мне искренне жаль, что приходится держать вас здесь. Но все же — не могло ли случиться, что вы, занимаясь вашими экспериментами, действительно стали жертвой самообмана?

— Итак, вы мне хотите посоветовать, чтобы я от всего отрекся и, полный раскаяния, признался, что страдал временным помешательством? Такова была бы цена моего скорого освобождения? — спросил я.

— Если вам угодно прибегать к столь резким выражениям... — Профессору явно сделалось не по себе.

— Хорошо, — кивнул я, — по этому поводу, господин профессор, я хотел бы заявить вам следующее. С чисто научной стороны я, пожалуй, не прочь сделать такое признание. Может быть, я ошибался, стал жертвой самообмана или чьей-нибудь мистификации, хотя сам я и не допускаю ни одного из этих объяснений. Но от той части работы, которая содержит в себе, если можно так выразиться, этические выводы, я не отрекусь ни за что. Отречься от разума, предать его? Нет, этого я не сделаю никогда!

Профессор посмотрел на часы и поднялся. Взгляд его подтвердил мне прежнюю догадку: по сути, дух его родствен моему.

— Я, кстати, распорядился, — сказал он как бы мимоходом и уже на пороге, — чтобы завтра вам дали свидание с женой.

— Может быть, смею попросить о возвращении очков? — крикнул я ему вслед.

Вспоминая теперь время, последовавшее за памятным днем 28 сентября, я кажусь себе муравьем, ревностно собиравшим тогда материал для своего жилья. В ближайшие ночи таинственных сигналов слышно не было, но в ночь на 2 октября я снова принял их. И на этот раз тоже они продолжались не больше десяти минут. О запуске новых космических ракет по-прежнему ничего не было известно (последняя американская, взорвалась тридцать секунд спустя после старта), и потому дело становилось для меня все загадочнее. Я перебирал самые различные возможности. Может быть, передатчик одной из советских ракет, которые еще совершали свой путь в нашей солнечной системе, по какой-нибудь случайности снова начал посылать сигналы? Поскольку передающий аппарат частично приводился в действие солнечными батареями, такое объяснение не исключалось, хотя, правда, было маловероятным. В подобном случае радиус действия и чувствительность моей приемной аппаратуры были поистине сказочными! Допускал я и иную возможность. Это могли быть сигналы, время от времени посылаемые с Земли на Луну и теперь отраженные Луной обратно на Землю — издавна хорошо известный способ преодолевать кривизну земной поверхности с по-

мощью ультракоротких волн. Но с таким объяснением никак не вязалась ни частота, ни направление, откуда шли сигналы. Когда я услышал сигналы вторично, Луна находилась много ниже линии горизонта. Но одно толкование я после долгого обдумывания и многократных вычислений отверг почти на сто процентов: сигналы не могли прийти прямо с какой-либо земной станции!

На первых порах, однако, меня больше занимали не загадочные сигналы, а сама работа аппаратуры, превзошедшая все ожидания. Видимо, принцип, по которому я построил свою схему, открывал некоторые перспективы. Но, как всегда бывает, бросились в глаза и всевозможные недоделки и упущения. Широкие возможности моей удачной схемы были исчерпаны далеко не до предела. При столь точной отстройке от помех вполне можно было добавить еще один усилительный контур. Если бы, например, повысить напряжение и обзавестись более совершенным стабилизатором, тогда... Словом, надо было решать, что предпринимать дальше с начатой работой. Ведь она обретала масштабы, уже непосильные для частного лица, да еще со столь скромными материальными возможностями, как мои.

Проще и легче всего было бы перенести дальнейшую работу в институт. Достаточно было обратиться к моему непосредственному начальнику профессору фон Егеру и все ему рассказать. Нет сомнения, что он с затаенной радостью ухватился бы за мою идею. И как-то утром во время разговора на служебную тему я уже было собрался заговорить о моем плане.

Но, бросив украдкой взгляд на господина, важно сидевшего передо мной в кресле, как на троне, я ничего не сказал. Может быть, я к нему несправедлив, но этот человек с продолговатым шрамом на левой щеке одним своим видом убивал всякую надежду на сердечное отношение и человеческую теплоту. Его подчеркнуто элегантный костюм, холодный, колючий взгляд серо-зеленых глаз, очень холёные руки, почему-то вызывающие представление о жестокости, и особенно его отрывистая речь... Даже «доброе утро, дорогой коллега» звучало у него начальнически. При разговоре он как-то особенно заострял губы, словно ему было трудно двигать остальными лицевыми мускулами. Казалось, что он раз навсегда уложил перед зеркалом все складки и черточки своего бледного лица и они навек застыли в этом положении... Нет, у меня просто не хватило духу посвятить его в свою тайну.

Поговаривали, что профессор фон Егер занимал свой пост не столько благодаря научным заслугам, сколько в силу принадлежности к определенным влиятельным кругам. Он сам давал повод для таких толков, потому что никогда не упускал возможности резко нападать в официальных речах или газетных статьях на своих коллег, даже куда более знаменитых, стоило тем выступить с докладами о последствиях Хиросимы или предостеречь против еще более страшных перспектив в будущем. Из его собственных научных работ мне до сих пор попадалась лишь одна, статья «О теплопроводности различных современных синтетических материалов», напечатанная в «Ежегодни-

ке физики». Ознакомившись с ее содержанием, я убедился, что это всего лишь сухая и скучная компиляция фактических данных.

Конечно, моя столь суровая оценка профессора фон Егера в какой-то мере обусловлена конкуренцией, желчной погоней за выгодной должностью, научным признанием, за кафедрами и карьерами. Скрытая борьба всех против всех ведется в мрачных помещениях нашего института с не меньшим ожесточением, чем где бы то ни было. Чем ниже стоишь, тем больше степень опасности остаться, если можно прибегнуть к такому сравнению, вечным заряжающим и никогда самому не выстрелить. Стоящий внизу всегда склонен и к недоверчивости, и к коварству. Что же касается меня, то я стоял на очень низкой ступени. Доверься я профессору фон Егеру, очень легко могло бы произойти, что он хотя вначале и одобрил бы мою идею, но в дальнейшем постепенно прибрал бы все себе к рукам и в конце концов в один прекрасный день вышла бы работа под таким приблизительно названием: «Новейшие методы достижения предельной чувствительности при приеме электромагнитных волн в диапазонах частот, применяемых при радиосигнализации». Автор: профессор физики в университете города X. И только в исключительно счастливом для меня случае где-то внизу мелким шрифтом было бы набрано: «Составлено при дружеском участии моего ассистента доктора Вульфа».

А потом делом заинтересовалась бы промышленность и профессор фон Егер за участие в дальнейшей разработке получил бы такую

сумму, одна мысль о которой уже вызывала головокружение... Нет, я могу и сам попытаться все это осуществить! Трудность заключалась в том, что у меня не было никаких связей в промышленных кругах. Я знал о них не более того, что их финансовые возможности так же относятся к возможностям нашего института, как, например, средства уличного шарманщика к доходам индийского набоба.

В масштабах Грюнбаха такой человек, как Нидермейер, казался мне сведущим и опытным. Когда он в следующий раз пришел ко мне в гости, я, поступившись своими намерениями соблюдать экономию, опять выставил на стол три бутылки мозельского и, крепко стиснув зубы, выдержал обычную его болтовню, уже не подавая, как в прошлый раз, никаких реплик, нарушающих мирное течение беседы. К концу визита Нидермейер пришел в столь приятное расположение духа, что даже затянул песенку «Про старых товарищей», и я спросил его как бы между прочим:

— Скажите, пожалуйста, господин Нидермейер, нет ли у вас случайно знакомых в электропромышленности? Ведь вам приходится так много вращаться в деловых кругах!

Сигара в уголке рта Нидермейера свесилась вниз, он прищурил один глаз и посмотрел на меня, как смотрят на человека, внезапно и удивительно раскрывающего какую-то новую сторону своего существа.

— Гм... гм... милый доктор. Скажите на милость!.. — пробормотал он. — Наконец-то вы почувствовали, где пахнет жареным. Разумеется, у меня есть там кое-какие связи. Что вы

скажете, например, о фирме «Анилин АГ»? Они платят двести десять!

— Но ведь это же химические фабрики, — возразил я.

— Ах, да! Но я думал, что для вас это совершенно безразлично. Ну, что ж, в таком случае, может быть, Всеобщая компания электричества, коротко «Электро АГ»? — Нидермейер отхлебнул вина и, к ужасу моей жены, стряхнул пепел сигары прямо на ковер. Ну, уж раз вы, милый доктор, такой отличный мальчик, — продолжал он в припадке великодушия, — открою вам, что, обращаясь ко мне, вы попали по верному адресу. И, добавлю между нами, я и сам имею кое-какое отношение к «Электро АГ»: там есть и моих пара акций. Надо же немного застраховаться, не так ли, Гертрудхен? — И, как бы ища у нее одобрения, он похлопал свою супругу по розовой шее, затем опять обратился ко мне:

— Итак, милый доктор, отправляйтесь немедленно к директору, а еще лучше — к генеральному директору и скажите ему, что это я вас прислал, я, Нидермейер. Только не связывайтесь с конторской мелюзгой; все эти мелкие козюльки ничего не смыслят, в общем — сплошное дерьмо! Прямым ходом в дирекцию! Вы сразу увидите, как вас там примут, едва сошлетесь на мою рекомендацию! Чего доброго, вы очень скоро переберетесь во Франкфурт, думаете, нет? Конечно, мне будет жаль наших приятных вечеров, но нельзя становиться поперек дороги к счастью человека...

Я не стал прерывать эту речь и оставил его

при своем мнении. Рекомендацией же решил воспользоваться.

В тот вечер мне сыграло на руку еще одно благоприятное обстоятельство. Нидермейер неожиданно обратился к провизору господину Кинделю, который тоже сидел за столом:

— Хе-хе, не хотели бы и вы в ближайшую пятницу прокатиться на вашей старой мельнице во Франкфурт и пополнить запас своих ядовитых снадобий? Вот могли бы прихватить заодно и нашего милейшего доктора. Сэкономили бы ему билет.

Намек на мое далеко не блестящее материальное положение был беззастенчиво явным, но, может быть, я просто-напросто стал слишком чувствительным и Нидермейер вовсе не хотел меня обидеть? Да и как можно было ожидать особой деликатности от человека вроде Нидермейера? Провизор Киндель выразил согласие кивком головы, впрочем довольно сдержанным. По-видимому, это предложение не доставило ему большого удовольствия, но делать было нечего.

— Сегодня первый случай, когда затраты на вино как будто оправдались, — заметил я жене после ухода гостей.

Поездка во Франкфурт навсегда останется для меня поучительным воспоминанием. Я взял в институте двухдневный отпуск, на который давно уже имел право. Моя просьба об отпуске не совсем пришлась по вкусу профессору фон Егеру, но меня это мало трогало. В пятницу, еще до рассвета, мы с Кинделем выехали из Грюнбаха на его машине. Купил он ее из вторых рук и редко ею пользовался.

Вначале господин Киндель был молчалив. За рулем он сидел очень прямо. В серой мгле туманного рассвета он был бледен, выделялись темные круги под глазами. Плотные сжатые губы казались обескровленными, — так мог выглядеть человек, пригвожденный к столбу пыток. Я не смел его отвлекать. Когда мы отъехали от Грюнбаха километров на восемьдесят, он в первый раз разжал губы, чтобы выразить удовлетворение по поводу того, что сегодня торчать в аптеке придется не ему, а шефу. Киндель пробормотал еще что-то, достаточно непочтительное, о старом козле. Дескать, когда-нибудь выйдут ему боком шашни с официанткой из «Медведя», с которой он флиртует прямо на лестнице погребка. Сначала я подумал, что ослышался, но чем больше отдалялись мы от Грюнбаха, тем щедрее становился господин Киндель на грубые выпады, изрекаемые сквозь стиснутые зубы. Начинало казаться, что злоба его против Грюнбаха и всех его обитателей росла прямо пропорционально квадрату расстояния. Он выразил, например, надежду, что в один прекрасный день Нидермейер так запутается наконец в своих вонючих кишках, что уткнется носом в дерьмо. Он высказал несколько скабрёзных предположений о фрау Нидермейер. Досталось от него и еще кое-кому из почтенных граждан Грюнбаха. Словом, Киндель раскрылся передо мной с самой неожиданной стороны. По-видимому, под внешне спокойной поверхностью его мнимо благочестивой души успело накопиться много злобы. Собрал он также богатейший за-

пас компрометирующих сведений о частных тайнах многих жителей Грюнбаха, и при случае эти сведения могли стать весьма опасными для данных лиц. Я слушал его с удивлением, рассказ развлек меня, и лишь один раз пришлось мне перебить рассказчика испуганным возгласом: «Боже мой, сейчас нас этот грузовик...» Киндель резко затормозил и выругался самыми последними словами. При приближении к Франкфурту он как будто начал раскаиваться в неводержанности своего языка, стал снова молчаливым и корректным.

— Все, что вы слышали, останется между нами, не так ли, господин доктор?

Конечно, я постарался тут же его успокоить:

— Разумеется! Все останется между нами, господин Киндель.

День выдался солнечный. Башни и крыши Франкфурта вырисовывались на холодной синеве осеннего неба с какой-то беспощадной четкостью. Вдали, над холмами, возникали в этой холодной синеве белые пушистые полосы охлажденного пара, будто чья-то рука выводила в небе затейливый узор; оглушительный рев реактивных истребителей порой перекрывал даже уличные шумы.

Исполинские многоэтажные новостройки, целые колонны роскошных, блистающих хромом автомобилей — сразу по три-четыре машины в ряд, — ослепительные витрины, кипение уличного водоворота... Все эти впечатления захватили и даже подавили меня. Ведь я не бывал во Франкфурте много лет, и по сравнению с ним наш город X., несмотря на свой универ-

ситет, был не более как захудалой провинциальной дырой, а сам я успел превратиться в настоящего провинциала. Как замороженный, глядел я на эти улицы сквозь ветровое стекло, пока Киндель вел машину через центр города. На краю обширной площади высилось монументальное здание из бетона и стекла. Оно сверкало в лучах солнца, и все же мне почудилось в его очертаниях что-то леденящее, почти нечеловеческое. На башне, увенчивавшей здание, красовалась надпись гигантскими буквами: Всеобщая компания электричества «Электро АГ».

— Вот оно! Высадите меня, пожалуйста, здесь! — воскликнул я, сразу пробудившись от моих размышлений.

Однако Киндель отрицательно покачал головой и проехал мимо фасада, перед которым стояло много роскошных машин.

— Если вы вылезете из этой старой тачки именно здесь и кто-нибудь случайно увидит это из окна, ваши шансы заранее упадут на добрых пятьдесят процентов, — заметил мой спутник в поучительном тоне, и я, учитывая окружающую роскошь, не мог не согласиться. Действительно, потускневший черный лак и старомодная конструкция нашей автомашины придавали ей удручающее сходство с большим навозным жуком.

Поэтому Киндель остановился, лишь проехав до следующей улицы, и посоветовал мне возвратиться на площадь в такси: пусть там подумают, что моя собственная машина находится в ремонте. По укоренившейся привычке экономить я было восстал против такого ма-

невра, робко возразив, что столь малое расстояние можно бы и пешочком пройти; но Киндель только презрительно улыбнулся моей неопытности.

— Если вы явитесь туда пешочком, то дальше швейцара не проникнете. Тогда к вашим услугам будет лишь один вход — для уборщиц и учеников. Впрочем, поступайте как угодно! — Затем он объяснил мне, на перекрестке каких улиц я должен буду его ждать. — Но не раньше десяти вечера. Или даже назначим точнее: двадцать два часа тридцать минут. Адье и желаю удачи.

В последний раз мелькнула его непонятная улыбка, затем он исчез в уличном водовороте, предоставив меня собственной судьбе.

После некоторого колебания я все же воспользовался советом Кинделя и подъехал к порталу здания на такси. И тем не менее швейцар оглядел меня очень подозрительно.

— Простите, вы куда?

— В дирекцию. По рекомендации господина Нидермейера, — заявил я важно, стараясь в то же время освободиться в душе от зловещего чувства ужаса, возбужденного во мне одним видом этого здания.

Простодушный швейцар дал себя провести. Во-первых, он не понял, что за моей уверенной манерой поведения кроется обычная робость, а, во-вторых, неизвестная ему фамилия Нидермейер могла принадлежать важному депутату бундестага. Он все же попытался связаться по телефону с дирекцией. На мое счастье, аппарат в ту минуту оказался занятым. Швейцару ничего не осталось, как предложить мне поднять-

ся на третий этаж. Немного поколебавшись, он это и сделал, добавив, правда, что вряд ли меня смогут сейчас принять.

Я был так взволнован, что не сообразил воспользоваться лифтом и стал подниматься по лестнице пешком. Солнечные лучи косыми полосами проникали сквозь стеклянные стены, и мрамор полов сверкал, как покрытый льдом. У дверей дирекции дежурил некий господин, и разговор с ним оказался потруднее, чем с швейцаром. Он высоко поднял брови и задал вопрос «куда» таким тоном, будто подозревал во мне тайного злоумышленника. Мой ответ «в дирекцию» вызвал у него лишь сострада-тельную улыбку: дескать, бедный мальчик из сказки желает к царю!

— У господ директоров сейчас заседание, и вообще сегодня никого не принимают,— объяснил он и сделал движение рукой, словно предлагая повернуть обратно к лестнице. При этом он смерил меня таким взглядом с головы до ног... Что ж, конечно, мой костюм был не моден и уже чуть поношен, где ему было равняться с одеянием этого господина!.. Но тут-то взяла меня злость.

— Послушайте!— проговорил я резко и очень отчетливо, стараясь преодолеть свою злосчастную шепелявость.— Моя фамилия Вульф, доктор Вульф! Я явился по очень важному делу и пробуду во Франкфурте всего один день. Кроме всего прочего, у меня есть рекомендация господина Нидермейера.

— Если вы намерены предложить свои услуги в качестве врача на наших заводах, то

отдел личного состава находится на первом этаже, — услышал я в ответ.

— Я не врач, а физик, ученый, понимаете? — почти закричал я, быстро вынул из портфеля аккуратно переписанный конспект моих теоретических умозаключений и помахал им перед самым носом этого господина.

— Вот! Это имеет чрезвычайную важности!

Он как будто начал немного колебаться.

— Хорошо, я передам это в дирекцию. Оставьте ваш адрес, через две недели вам будет дан ответ.

Но я не сдался:

— Нет! Дело не терпит ни малейшего отлагательства! Меня должны принять лично и немедленно.

В конце концов я добился, что он, метнув на меня злобный взгляд, исчез с моей рукописью за красиво обитой звуконепроницаемой дверью. Вернулся он, преисполненный насмешливого злорадства.

— Заседание продлится еще не меньше двух часов.

— Хорошо, я подожду, — мрачно отпарировал я.

Заседание продлилось не два, а три часа с четвертью. Подавленный одиночеством, просидел я все это время на стуле в углу холла, и чудилось мне, будто из каких-то огромных незримых часов каплями сочатся и падают секунды, такие мучительно медленные и вместе с тем невозвратимые. Господин у двери больше не обращал на меня никакого внимания. Если его взор случайно устремлялся в мой

уголок, господин делал вид, будто ничего, кроме воздуха, в этом углу нет.

Около двух часов пополудни меня наконец приняли.

Я очутился в большой комнате, напоминающей зал. Хотя обстановка была парадной, но от нее веяло духом холодной деловитости. Даже дневной свет из окон казался ледяным. Никакие иллюзии не могли бы здесь возникнуть и расцвести. По ту сторону большого зеленого стола сидели три господина и секретарша. Повидимому, эти господа располагали такой могущественной властью, масштабы которой было даже трудно представить себе. Сидевший в центре стола как бы держал эту власть в своих мощных мясистых руках. Его лысый, круглый и несоразмерно маленький череп сверкал от жира, а загривок, подбородок и щеки сплошь состояли из пухлых подушечек, похожих на грубо прилепленные кусочки пластилина. Его сине-красные вспученные губы сжимали сигару. Господин этот сосредоточенно крутил пальцы сложенных на животе рук и взирал с благодушной улыбкой на собственное брюхо, будто радуясь его невероятной выпуклости. Он очень напоминал фигуру Будды в состоянии нирваны. Однако, когда он поднимал лицо и на вас устремлялся из-за тяжелых ленивых век его взгляд, у вас появлялась догадка, что первое впечатление было обманчиво. В светло-водянистом круге роговицы зрачок казался разве что чуть больше булавочной головки, а взор этих зрачков был неподвижен. У этого человека были глаза убийцы.

Сосед справа отличался элегантным костю-

мом, особо тщательной прической и высокомерным выражением лица. Его безупречный галстук казался отлитым из гипса. Он мог бы так вот сразу и шагнуть к телекамере, чтобы произнести речь. Успех у публики, в особенности женской, был ему заранее обеспечен. Пока я там находился, он все время держал холеный мизинец на уровне глаз, словно рассматривая свое отражение в золотой печатке перстня, как бы желая убедиться, что ни в прическе, ни в идеально завязанном галстуке никаких нежелательных перемен не произошло.

Господин слева от толстяка был облачен в старомодный, торжественно черный костюм. На его бледном, морщинистом лице с острым носом и поджатыми губами все время сохранялось выражение брюзгливого недовольства, какое бывает у людей, страдающих язвой желудка. Но самым примечательным в нем был, несомненно, череп. В форме башни, абсолютно лысый череп, болезненно-желтоватой окраски, почти как у скелета.

Не скрою, при виде этих людей меня объял ужас. Я почувствовал свою полную незащищенность перед этим, как я догадывался, враждебным мне, беспощадным миром богатства и могущества. Одному я удивлялся, да и по сегодняшний день это осталось для меня загадкой — как меня вообще могли сюда допустить, а не направили в нижние инстанции. Безусловно, причина крылась не в Нидермейере. Потому что едва я проговорил: «Моя фамилия Вульф, доктор Вульф, я явился по рекомендации господина Нидермейера», как все три господина переглянулись в недоумении.

— Вы имеете в виду Нидермайера с дортмундских металлургических? Фамилия через «ай»? — осведомился после небольшой паузы толстяк.

— Нет, через «ей». Нидермейер из Грюнбаха, — выдавил я из себя, почти пристыженный. О кишках и кожах я благоразумно промолчал, потому что при слове Грюнбах даже секретарша, хорошенькое белокурое создание с кукольным личиком, отвернулась, чтобы скрыть улыбку.

— Вы знаете такого? — спросил толстый элегантного. Тот небрежным жестом наманикюренных пальцев как бы смахнул со стола и Нидермейера, а с ним и весь Грюнбах, обратив их в ничто. Голос его прозвучал при этом почти сердито:

— Может быть, кто-нибудь из мелких акционеров? Откуда нам знать их всех?

Престиж Нидермейера упал в моих глазах до нуля. Да, здесь были иные масштабы, чем в Грюнбахе!

Тем не менее толстяк ободряюще показал мне на кресло:

— Садитесь, пожалуйста. Вы хотели сделать нам предложение, какое-то открытие или нечто в этом роде? — В его тоне слышались довольные нотки, он даже предложил мне сигару.

По всей вероятности, между тремя господами происходило какое-то конфиденциальное совещание. Возможно, мне было позволено предстать перед ними только потому, что столь экстравагантный гость мог внести некоторое разнообразие в деловую рутину — маленькое развлечение в антракте между серьезными

разговорами. Во всяком случае, иронический взгляд, которым эlegantный окинул мою скромную персону, делал такое толкование весьма вероятным. И только один из трех — господин с черепом скелета — явно был лишен чувства юмора и до конца сохранял на лице горько-строгое выражение.

Эlegantный полистал мою рукопись самыми кончиками пальцев, словно опасался, как бы с ее страниц не посыпались блохи, а я начал было краткий доклад, но толстяк сразу прервал меня вопросом, занимаю ли я в университете города X. профессорскую кафедру. После моего смущенного признания, что я там всего лишь научный ассистент, интерес ко мне явно упал еще ниже, и под конец меня уже почти не слушали. Было вполне очевидно, что господа ничего не смыслят в научных проблемах и ведают лишь коммерческими делами концерна.

Зазвонил один из пяти телефонов цвета слоновой кости. Секретарша взяла трубку, поклонилась невидимой величине на том конце провода и со словами: «Да, пожалуйста, сейчас» — протянула трубку толстяку, едва слышно прошептала: «Господин секретарь министерства». Толстяк, удобно развалившись в кресле, не выпуская изо рта сигары, несколько мгновений держал трубку приложенной к уху, как бы прислушиваясь к красивой мелодии, доносившейся до него издалека. Будто в такт ей, он время от времени кивал головой и мычал: «Гм... так... так... смотря по обстоятельствам... устроим это дело».

Два других господина буквально застыли

в напряжении, стараясь прислушаться. Обо мне, разумеется, совершенно забыли, и я получил возможность незаметно оглядеть комнату. Мой взгляд задержался на большом настенном зеркале в золоченой раме. Там я отчетливо увидел самого себя, сидящего с мучительно напряженным лицом, бледным от волнения; глаза мои, как всегда, казались странно огромными за стеклами очков. Добавьте к этому мою щуплую фигуру в потертом костюме. Сигара, которую я закурил с непринужденным видом, оказалась крепчайшей. У меня началось легкое головокружение, и я невольно откинулся на спинку кресла; в зеркале это выглядело так, точно я соскользнул в глубину пропасти, чтобы исчезнуть в ней без следа.

Толстяк между тем закончил телефонный разговор и едва заметным движением бровей дал понять обоим коллегам, что дело шло о чем-то весьма важном. Мне стало ясно, что при таких обстоятельствах мое дальнейшее присутствие становится обузой. Это можно было понять и по нетерпеливой резкости, зазвучавшей в обращаемых ко мне вопросах. Они преследовали одну цель — скорее покончить с интермедией, которая перестала забавлять.

— Есть у вас еще какие-нибудь рекомендации? — поинтересовался череп.

Но таковых у меня не имелось.

— Полагаете ли вы, что ваше... э... э... изобретение может оказаться полезным для нашего производства? — осведомился толстый.

Этого я не мог утверждать. Но в свое оправдание указал, что, например, в радио и телевидении затраты на внедрение моих идей

покамест, конечно, себя не окупили бы, но потом, в будущем, со временем эти затраты... может быть... принесли бы...

Эlegantный прервал меня нетерпеливым жестом. Наверно, только из простой вежливости он при этом не крикнул: «Так какого же черта вы отнимаете наше драгоценное время?»

Господа переглянулись, как бы совещаясь между собой. Восседавший на председательском месте толстяк с глазами убийцы почти незаметно опустил и снова поднял тяжелые веки, причем ни в его лице, ни в позе не произошло ни малейшего изменения. И все же это движение век вверх и вниз было равнозначно вынесению мне приговора.

Господин с черепом сделал последнюю попытку:

— Не могло бы ваше изобретение пригодиться для оборонной техники? Скажем, для обнаружения вражеских самолетов и ракет?

Я был вынужден сознаться, что еще не подумал о такой возможности.

— Так подумайте о ней, господин доктор, подумайте, а затем опять приходите к нам, — сказал толстяк на сей раз уже с нескрываемым раздражением.

Эlegantный протянул мне рукопись. «Если вам угодно, вы можете передать вашу работу на экспертизу в техническое бюро, оно на первом этаже».

Я этого не сделал. Ведь если бы мой труд очутился в бумажной груде этого гигантского делопроизводства, судьба рукописи, вероятно, была бы та же, что и в институте, доверься я профессору Егеру.

О дальнейших событиях того дня почти нечего рассказывать. Наверное, я где-то пообедал, может быть в кафе. Хорошо запомнилось мне только бледное вечернее небо за фасадами высоких домов, когда я отправился на условленный перекресток, дожидаться там провизора Кинделя.

Перекресток находился недалеко от вокзала. Поблизости, как он объяснил, жили его родственники. Вокруг вокзала чернели в серой окантовке фасадов зияющие ущелья улиц. Кое-где слабо светились окна. Наступила глухая ночная пора. Спящий город выглядел уныло и безрадостно.

Уже в некотором нетерпении, я чуть-чуть углубился в одну из узких улиц. Тут открылись моему взгляду в озарении красных и зеленых фонариков на высоте первых этажей заманчивые вывески увеселительных заведений, вроде «Гавайи», «Сан-Франциско», «Бар Гонолулу». Жалкая попытка приплести экзотику Тихого океана к панелям Франкфурта! Из-за плотно задвинутых занавесей звучала пронзительная музыка, доносился пьяный рев. По углам, привалясь к стенам домов, торчали подозрительного вида парни в джинсах; волосы их были приклеены к черепу бриллиантином; в уголках губ — криво зажаты сигареты. Расфранченные, размалеванные девицы семенили назад и вперед по переулку или бросали полные ожидания взгляды на огромный грузовик, из которого как раз высыпала шумная ватага американских солдат.

С чувством глубокого отвращения возвратился я опять на условленное место встречи,

но Кинделя все не было. Три четверти одиннадцатого, одиннадцать... О господине Кинделе ни слуху ни духу.

В половине двенадцатого мне уже сделалось невмоготу и я снова пошел по веселой улице в сомнительной надежде встретить где-нибудь Кинделя. И действительно, я увидел его машину и стал дожидаться около нее. В ту минуту, когда я совсем было собрался пойти разыскивать его по соседним кабачкам, внезапно метрах в десяти от меня распахнулась дверь «Красной пантеры». Желтый луч упал поперек мостовой, и в этой полосе света я увидел Кинделя. Все произошло, будто на фоне театральной декорации. Какой-то коренастый детина нанес провизору увесистый удар ногой. Удар пришелся пониже спины и сообщил Кинделю необычайную скорость, с которой он и вылетел из двери. В это время некая белокурая дама с полуобнаженной объемистой грудью (его родственница?) напутствовала его яростной бранью: «Ах, ты, деревенская свинья! Жадный пес! Дерьмо! Оборванец!» Потом дверь захлопнулась.

До сегодняшнего дня мне так и осталось неизвестным, чем же вызвал Киндель страшный гнев белокурой дамы. Я ведь так привык видеть этого корректного и внушительного господина с молитвенником в руках, когда он в Грюнбахе благочестиво шествовал в церковь. А тут я вдруг узрел его, облитого пивом, с красными пятнами на лице, растерзанным воротничком и съехавшим на бок галстуком... Я не выдержал и разразился оглушительным, чуть не истерическим хохотом. Наверное, это

была запоздавшая реакция моих нервов на события несчастного дня, своего рода клапан или отдушина, чтобы дать выход всей горечи, накопившейся у меня в душе за этот день.

— Вот это да! Вот это господин Киндель! — бормотал я, задыхаясь от смеха, и никак не мог остановиться.

Но, едва взглянув Кинделю в лицо, я онемел. Его вытаращенные глаза, казалось, готовы были выскочить из орбит. Круглые и остекленелые, они отражали зеленоватый свет уличного фонаря, и, когда он глянул на меня, столько было в них нечеловеческой ледяной ненависти, что я испугался. Значит, еще маловато я знал Кинделя и почти раскаивался, что дал волю смеху.

— Сволочь, одна сволочь! — проскрежетал он. Этим ограничились его объяснения по поводу случившегося. Пошатываясь, он пошел к машине. Потом грубо спросил меня, умею ли я водить. К несчастью, пришлось ответить отрицательно. Киндель скривил от презрения рот и посмотрел на меня так, словно хотел сказать: «И на это не годен!»

— Ну, что ж, управимся и без вас. Да садитесь же, черт вас поберет совсем! — заорал он.

Всю дорогу Киндель правил молча. Фары вырывали из мрака узкую полосу. Я следил за пролетающими призрачными очертаниями деревьев, кустов, придорожных камней. Я слишком устал, чтобы о чем-нибудь думать, но в подсознании не затихала смутная тревога; казалось, мы без цели мчимся в какой-то бездонный мрак, из которого нет возврата. Полет в ад.

На полпути случилось совсем незначительное, даже скорее комичное происшествие, но, как ни странно, оно глубоко запечатлелось у меня в памяти.

В свете фар, далеко впереди, я вдруг заметил зайца. Зверек неподвижно сидел посреди автострады, поводя ушами; глаза его отсвечивали золотым и зеленым огнем. Я замер от испуга, горячая волна жалости облила мое сердце. На мгновение у меня мелькнула нелепая мысль, что этот заяц, одинокий и жалкий в ночном мраке, — это я сам.

— Осторожно, Киндель! — крикнул я.

Но было поздно. Зверек уже прыгнул, да не в ту сторону! Легкий удар о левое переднее колесо — и мы промчались мимо. В ужасе я обернулся назад. Через заднее окошко машины ничего нельзя было разглядеть во тьме.

— Зачем вы его раздавили? — закричал я в припадке внезапного отчаяния.

Киндель будто окаменел за рулем. От приборов на панели падал слабый отблеск света на его лицо и ежик волос. Что-то сатанинское вдруг почудилось мне в его чертах.

— Может, надо было, по-вашему, из-за него свернуть в канаву и расколоть себе череп? Вот было бы умно! — возразил он с издевкой.

Конечно, он был прав, и я, пристыженный, замолчал.

Приблизительно километров за пятьдесят до Грюнбаха Киндель остановил машину и привел в порядок, насколько это было возможно, свой растерзанный туалет. Он уже вполне отрезвел, и его лицо в свете едва брезжившего утра выглядело очень бледным.

— Все останется между нами, не так ли?— спросил он, прежде чем ехать дальше. Вопрос прозвучал почти как угроза. Но у меня теперь уже нет причин хранить молчание.

Прощаясь, он смерил меня холодным испытующим взглядом, и я понял: Киндель никогда мне не простит, что я видел его унижение и еще смеялся над ним. Отныне он стал моим врагом. Но в ту пору я еще не придавал этому должного значения.

4

Итак, сегодня меня навестила жена. Предварительно в палату явилась торжественная процессия. Впереди шествовал старший врач доктор Бендер, за ним — сестра и в некотором отдалении — два санитаря. Доктор Бендер сообщил мне о предстоящем свидании, причем тон его не оставлял никаких сомнений, что лично он не одобряет полученного мною позволения на эту встречу.

— Надеюсь, — сказал он, — что свидание не повлечет за собой нежелательных последствий для вашего здоровья, и я настоятельно просил бы не касаться в беседе с супругой таких спорных вопросов, которые могли бы вас взволновать. Вашу супругу я уже проинструктировал на этот счет... Более 15 минут я разрешить не могу.

Затем он подал знак сестре. В руках у нее был поднос, она держала его с той торжественностью, с какой средневековые пажи подавали своим государям скипетр и корону.

Рядом с листками истории болезни и термометром лежали на подносе мои очки!

— Чрезвычайно вам признателен, господин старший врач! — воскликнул я, в высшей степени обрадованный, и тотчас же надел очки. Но, так как я долго был их лишен, вначале мне застлало глаза туманной пеленой, которая, однако, вскоре рассеялась, как только глаза вновь освоились со стеклами. Когда полчаса спустя ко мне вошла жена, я уже видел окружающие предметы с исключительной ясностью и четкостью.

Жена была в черном, словно я уже умер и она явилась на мои похороны.

— Ах, Роберт! — тихо проговорила она, присела на край кровати и нервно скомкала носовой платок, будто хотела выжать из него недостававшие ей слова.

— Ну, как там ваши дела? — спросил я нарочито весело. — Мне, как видишь, живется сносно.

Но она не поддержала моего тона.

— Неужели все это действительно нужно было? Ведь это же ужас! — вырвалось у нее, и она заплакала.

К счастью, льготы, санкционированные профессором, включали и право поговорить с женой наедине, и, таким образом, доктору Бендеру осталось неизвестным, как уже на первой минуте свидания были нарушены его предостережения. Что касалось меня лично, он мог не беспокоиться. Самообладания я не потерял. Мне было только неловко. И немного грустно. Благодаря возвращенным очкам я обрел остроту зрения и ясно различал каждую

черточку на лице моей жены, уже несколько увядшем, но отнюдь не лишенном красоты. Сейчас оно выражало явственнее, чем когда-либо, чувство безграничного недоумения, как будто обращалось ко всему враждебному и безжалостному миру с немым вопросом: «Что же все это значит? Что теперь со мной будет? Как же это случилось?»

Женился я несколько лет назад, вскоре после того, как получил должность в университете. К сожалению, меня едва ли можно причислить к таким мужчинам, которые способны возбудить сильную страсть. Поэтому наше чувство скорее было спокойной взаимной склонностью. Ее источником был, с одной стороны, разум, с другой—уважение друг к другу. Отец жены был средним чиновником, продолжавшим традицию семьи, которая из поколения в поколение поставляла государству таких же чиновников среднего ранга: провинциальных бургомистров, почтмейстеров, муниципальных секретарей и столоначальников канцелярий. Тайной гордостью семьи был некий капитан запаса. Сам кайзер наградил его золотой медалью за отвагу, и в первую мировую войну он пал смертью храбрых под Верденом. Его фотография висела над буфетом в парадной комнате родителей моей жены. Но этот капитан являлся, так сказать, исключением.

Согласно семейной традиции, главным идеалом, к которому следовало всемерно стремиться, было продвижение вперед по служебной стезе, притом с возможно более четкой перспективой. Служить—это значило идти прямой как струна дорогой по однообразной мест-

ности. Верстовыми столбами на этой дороге служили повышения окладов, конечным пунктом была выслуга пенсии. Такие люди больше всего страшатся, как бы не нарушился надежный автоматизм этой рутины, поэтому любому начальству они готовы давать любые клятвы, послушно склоняются перед любым законом, и это-то помогает им кое-как держаться на поверхности при самых сильных бурях и переворотах.

Я хорошо помню торжественный момент, когда родители моей жены дали согласие на наш брак. Пока моя будущая теща растирала по щекам обязательные в таких случаях слезы, ее супруг, почтенный бургомистр, не произносил традиционных фраз, вроде: «Сделайте нашу дочь счастливой!» — или «Любите нашу дочь!» Нет, он избрал другие слова: «Постарайтесь создать для нашей дочери обеспеченное будущее!»

Люди эти словно бы и жили-то не во имя радостей бытия с его красотами, битвами и страданиями, а исключительно для того, чтобы обеспечить себе прочное положение и выслужить пенсию. Но в ту пору я еще над такими вещами не задумывался.

Итак, после женитьбы побрел и я по своей однообразной и скучной стезе, причем единственным верстовым столбом на всем моем служебном пути было повышение жалованья на целых сорок пять марок! И, хотя достойная цель пути — выслуга пенсии — еще скрывалась где-то в туманной дали, наша семейная жизнь в общем протекала благополучно. Обе стороны мирились с ней довольно охотно. Конеч-

Но, жену несколько угнетали убогие, по ее мнению, квартирные условия, вечная необходимость экономить, отсутствие всякого внешнего блеска, но по своей натуре она была терпелива.

Все круто изменилось, когда я совершенно неожиданно и по совершенно непонятным ей причинам вдруг свернул с надежной, проторенной дороги и ринулся в сторону, в дикие заросли, чтобы углубиться в полную красот и опасностей непроходимую чащу. Понять все это было ей тем труднее, что я почти не посвящал ее в мою работу. Ей оставалось только догадываться, что за ней кроется нечто таинственное и угрожающее. Помню, с каким глубоким и немым упреком она показывала мне огромные счета за электричество — результат моих полуночных бдений на чердаке. Растволковать ей, почему я должен был все это делать, почему для меня потом уже не могло быть возврата, оказалось бы задачей невыполнимой. Естественно, что, помимо доктора Бендера, ни у кого не было серьезных оснований для тайного опасения, будто я и впрямь спятил. Может быть, она была убеждена в этом даже больше, чем сам доктор Бендер. Конечно, она этого не высказывала, сидя у моей кровати и прикладывая к заплаканным глазам носовой платочек. Она спросила только: «Роберт, что же теперь будет? Что ты собираешься делать?» «Пока что — ждать», — ответил я уклончиво и попробовал улыбнуться.

Потом мне пришло кое-что в голову. «Не заходил ли к тебе Крюгер? — спросил я. — Или, может быть, ты получила от него какие-нибудь вести?»

Жена отрицательно покачала головой: «Нет, ничего». Она проговорила это тоном, в котором ясно слышалось: «К счастью, ничего!»

Я отвернулся и посмотрел в окно, сквозь которое в комнату проникал бледный луч осеннего солнца. Мне показалось, что стекла очков внезапно помутнели. Я снял их, тщательно протер кончиком простыни. Значит, так-таки ничего!..

Жена заговорила о том, что чердак опечатали и ей теперь приходится сушить белье в саду. Но я уже почти не слушал.

— Как поживает мать? — спросил я, чтобы что-то сказать.

— В смысле здоровья лучше, чем когда бы то ни было, — ответила жена не без раздражения, словно считала хорошее здоровье и самочувствие просто неприличным для членов нашей семьи в теперешних обстоятельствах. — Сама я стараюсь носа на улицу не показывать, а твоя мать, что ни день, вылезает теперь из своей комнаты на свет божий и толкует всему Грюнбаху, как подло было сажать сына в тюрьму! Говорит, что плату за учение он, мол, вносил исправно и отметки хорошие. А что тот, кто обвинил его в подлогах и мошенничестве, сам прохвост или завистливый дурак. Ты ведь знаешь, у нее все в голове перепуталось. Будем надеяться, что она не навлечет на нас еще новых неприятностей. Если я пробую ее успокоить, она огрызается: «Ничего ты не понимаешь!» Мне она и слова сказать не дает.

Этот рассказ о матери меня чуть-чуть утешил; я даже улыбнулся про себя.

В этот момент вошла сестра и объявила:

«Четверть часа истекли. Фрау Вульф, вы должны уходить».

Говоря откровенно, я даже обрадовался, так как не мог придумать, о чем нам еще поговорить, не касаясь при этом неприятных частностей.

И уж только после ухода жены, когда я вспоминал наш разговор, снова стало очень жаль ее. Как много пришлось ей выстрадать, пережить затаенную тревогу после моей неудачной поездки во Франкфурт! Ведь перемены, происшедшие после этой поездки в моей жизни и моем характере, были ей заметнее, чем кому-либо другому.

А может, после неудачи у промышленников мне вообще следовало бы отказаться от дальнейшей борьбы? Кое-кто, возможно, так и рассудил бы, но тогда я не заслуживал бы звания ученого. Конечно, я был сильно обескуражен, временами близок к отчаянию, но сдаваться желал менее, чем когда-либо. Совсем наоборот: я становился все более желчным, раздражительным, но и более упорным. Отчасти из упрямства и уязвленной гордости, чтобы показать, кем они пренебрегли, отчасти из подлинного энтузиазма исследователя. Постоянные мысли о трудностях и лишениях расшатали мои нервы; раз или два я даже обошелся с женой так непростительно грубо, как никогда не позволял себе за все годы совместной жизни. Но я уже достиг в работе той ступеньки, с которой мне, будто ясновидящему, уже чуть приоткрылась тайна будущего открытия. Всей его грандиозности я, конечно, предугадать не мог. Но никогда и ни за что не променял бы

я моего тогдашнего, казалось бы, мучительно-го состояния на прежнюю спокойную и монотонную жизнь. Мою тогдашнюю одержимость научной идеей можно было бы сравнить, пожалуй, только с амоком.

Важнее всего было добыть денег. Поскольку читатель этих строк уже мог составить себе довольно точное представление о нашей жизни и круге знакомств, его не удивит, что в качестве единственного выхода я мог подумать только о Нидермейере. С мрачным юмором воскресил я в памяти свой пророческий сон: как я, упав перед Нидермейером на колени, вымаливал у него одну марку! И вот как-то в полдень я явился к нему в контору. Для этого мне пришлось заранее взять в институте служебное поручение и с высунутым языком накрутить на велосипеде шестнадцать километров, отделявших город Х. от Грюнбаха.

Мне повезло: я застал Нидермейера в конторе. Она помещалась в его новом доме на рыночной площади. По замыслу хозяина, контора должна была отвечать ультрасовременным требованиям и вместе с тем свидетельствовать о его безупречной лояльности. Поэтому в комнате, обставленной не очень стильной и несколько комичной мебелью из стальных трубок, Нидермейер повесил на фоне бумажных обоев изображение так называемого святого хитона трирского * и фотографию бундесканцлера в полный рост. Посетителей беспокоил запах гнили, доносящийся из сеней,

* Католическая реликвия, хранящаяся в соборе города Трира. — *Прим. ред.*

выходивших во двор, где в особых складских помещениях Нидермейер хранил кишки и кожи — источник всего своего благополучия.

Нидермейер немного удивился моему появлению, но, будучи в хорошем настроении, приветствовал меня весело:

— А! Милый наш доктор! Вот неожиданность! Не угодно ли рюмочку водки?

Все изменилось, едва я изложил ему цель визита.

— А зачем вам, собственно, деньги? — спросил он. Это был уже совсем другой Нидермейер, серьезный и деловитый, с нахмуренным лбом, поднятыми бровями и неизменной сигарой во рту.

— Надо сделать кое-какие приобретения, господин Нидермейер. С вашей стороны это было бы так любезно и мило... — пояснил я.

— Уж не собираетесь ли вы перебраться во Франкфурт? — поинтересовался он. Но я вынужден был его разочаровать:

— Нет. Пока что из этого еще ничего не вышло. К тому же в «Электро АГ» вашу фамилию припомнить не смогли, — ответил я несколько язвительно.

— Вот как? Это не совсем понятно...

Я воспользовался его минутным замешательством, чтобы повторить попытку выкачать из него деньги.

— А много ли? — осведомился он, не слишком обрадованный моей настойчивостью.

— Тысяча марок, — выпалил я и сам испугался размеров названной суммы. Когда же я заметил на его лице явное облегчение, мне стало досадно, что не догадался попросить

двух тысяч. Что такое для Нидермейера тысяча марок? Он, видимо, опасался худшего.

— Ну, ладно, — согласился он, — и то только для вас, доктор. Вообще-то я денег не даю. Из принципа. А какую гарантию вы мне даете? — Передо мной опять был трезвый и расчетливый делец.

Волей-неволей пришлось назвать сумму моего жалованья. Почти потрясенный, он заявил, что в случае необходимости с такой суммой и удержать-то ничего нельзя, она ведь едва превышает прожиточный минимум. Тогда я предложил ему в залог предметы моей обстановки, но и это не успокоило его. Есть ли у меня еще долги? Об этом он спросил прямо, и я со спокойной совестью смог ответить отрицательно. Кроме тридцати двух марок лавочнику и последнего взноса за купленную в рассрочку мебель, — ничего. Четыреста пятьдесят марок, взятые мною у матери, я в расчет не брал — дело семейное.

Падать перед Нидермейером на колени, как в моем сне, к счастью, не пришлось, потому что в конце концов он дал мне деньги. Восемь процентов годовых, срок возврата — один год. Условия умеренные. Правда, откуда и как достать через год тысячу марок для уплаты долга, я представлял себе более чем туманно. Но при моей тогдашней одержимости я не стал слишком задумываться. Когда я, втайне торжествуя, уже собирался уходить, Нидермейер задержал меня на пороге.

— Послушайте, доктор, — прошептал он, бросив предварительно взгляд в сени, откуда несло запахом кишок, — при моей жене — ни

слова об этом, когда мы следующий раз будем у вас. Сами знаете, женщины — такие чудачки...

— Все — только между нами. Даже моя жена — и та ничего не узнает, — обещал я.

В сущности Нидермейер был неплохим малым, только слишком быстро привалило ему богатство.

Никакой король гномов из сказки или саги не мог созерцать свои тайные сокровища с таким удовлетворением, с каким я через два дня созерцал вечером все свои новые приобретения. Накануне я привез их в двух чемоданах из города и обозревал теперь на чердаке при свете лампы. Вместо слитков золота и серебра — трансформаторы и конденсаторы; вместо драгоценных камней — полупроводниковые приборы и электронные лампы! Истинное великолепие!

— Да придешь ли ты наконец ужинать? Все остынет! — укоризненно крикнула мне снизу жена.

Я чрезвычайно удивился: разве я еще не поужинал?

Вычисления и чертежи были у меня уже готовы, но требовалось немало времени на переделку всей конструкции. Я очень сильно усложнил и усовершенствовал свою схему, не хватало терпения ждать, когда я успею все это наладить. И у меня возникла мысль подыскать себе помощника. Янек для таких целей вряд ли годился; нужен был человек, имеющий хотя бы некоторое понятие о всех этих вещах.

На следующее утро я вел в мрачных стенах нашего института практические занятия с груп-

пой студентов — учил их работать с мостиком Уитстона * — и в то же время внимательно приглядывался к окружавшим меня лицам. Вот студенты Шмидт и Тренке. Эти молодые люди высокого мнения о себе — ведь у каждого уже было по...студенческой дуэли. Мне они оба явно не годились, их интересовало совсем иное. Длинноволосый томный юноша рядом... Носит на мизинце кольцо с бриллиантом и, когда берет в руки какой-нибудь предмет, жеманно оттопыривает этот мизинец... Он — сын высокопоставленного государственного чиновника. Нечего и думать о том, чтобы обратиться к нему с моим предложением. Дальше — маленькая Гербер, приятная и уменькая девочка, но... ее не пригласишь: жена обидится, сплетни пойдут... Можно бы попробовать с Мюллером, он, верно, почувствовал бы себя даже польщенным. Когда Мюллеру дают какое-нибудь задание, вся его круглая и красная физиономия покрывается испариной от усердия. Он столь же старателен, сколь и нерасторопен. Увы, это не светоч ума! Отец этого студента — недавно разбогатевший делец, — видимо, вбил себе в голову во что бы то ни стало протащить свое чадо сквозь дебри университетских наук.

И в конце концов мой выбор пал на Крюгера. В прямую противоположность мне Крюгер был завидно хорош собой: с каштановыми

* Мостик Уитстона — тип наиболее простого и распространенного магнитно-электрического гальванометра, служащего для измерения сопротивлений ниже 1 ома. — *Прим. ред.*

волосами, большими темными глазами и слегка насмешливым округлым ртом. Вероятно, он был самым одаренным и умным из всей группы. Все поручаемые ему задания он выполнял с исключительной сноровкой, шутя, как будто обижался легкости заданий, считая их ниже своего достоинства. Однажды в обычной для него небрежной манере он признался мне, что сомневается: продолжать ли изучение медицины или сменить ее на физику, которая привлекает его куда больше? Можно ли, спросил он, пройти курс побыстрее. Одевался он опрятно, но очень скромно, и мне было известно, что для внесения платы за обучение ему приходится брать случайные работы. И все же пожелает ли он отдать свое свободное время мне, вместо того чтобы провести его с какой-нибудь девушкой? Его внешность давала все основания для сомнений.

По окончании практических занятий я задержал Крюгера:

— Послушайте, Крюгер, не хотели бы вы немного помочь мне в одной частной работе? Только, к сожалению, много уплатить вам за это я не смогу.

— Что ж, господин доктор, ладно, если вам нужно! — Ответ прозвучал далеко не восторженно. Было видно, что он просто не решается отказаться, не желая портить со мной отношений. Тем более что за последнее время я и на практических занятиях бывал очень раздражителен и студенты все чаще становились жертвами моей нервозности: я пылко упрекал их за нерадивость, сыпал саркастическими замечаниями и запугивал предстоящими экзаменами.

— Но придется работать у меня на дому. Я живу в Грюнбахе, в шестнадцати километрах отсюда, — предупредил я.

— Ничего не значит. У меня мотоцикл, — ответил он не без гордости.

— Ну, что ж, в таком случае, может быть, начнем сегодня вечером? Скажем, часов в восемь?

Он колебался. «Хорошо, если вы так хотите, господин доктор», — сдался он наконец с едва слышным вздохом.

Ровно без пяти восемь он подкатил к моему дому на невероятно старой и оглушительно трещащей мотоциклетке, которую, по всей вероятности, купил у какого-нибудь старьевщика и потом собственноручно отремонтировал. Я провел его на чердак. Засунув руки в карманы брюк, он с минуту удивленно и насмешливо оглядывал антенну и мою аппаратуру на столе, которой я так гордился.

— Занятная штука... Для чего она, господин доктор? — спросил он несколько покровительственным тоном. По-видимому, сооружение не произвело на него никакого впечатления, но он просто не хотел меня огорчать.

Чтобы поставить его на место, я нахмурился и, не давая прямого ответа на вопрос, кратко объяснил ему монтажную схему усилителя и стабилизатора. И то и другое еще предстояло наладить и подключить.

— Попробуйте собрать эти аппараты в том порядке, в каком вы видите их на этой схеме. Сможете?

— Думаю, смогу, — ответил он и покосился на меня несколько обиженно. Хотя на чердаке

и было весьма прохладно, он скинул пиджак и начал работать. Как я скоро убедился, работал он очень быстро и дело у него спорилось гораздо лучше, чем это вышло бы у меня. Явный талант к экспериментальной работе!

Полчаса он возился молча, потом спросил, монтировать ли и проводку.

— Если думаете управиться и с этим — буду очень рад! — сказал я, улыбаясь.

В хорошем настроении я стал разговорчивее. «При помощи этой аппаратуры я собираюсь ловить сигналы космических ракет», — ответил я наконец на заданный мне в самом начале вопрос о назначении аппарата. О принятых мною таинственных сигналах я, разумеется, умолчал.

Его глаза заблестели, и по взгляду, который он на меня бросил, я убедился, что несколько вырос в его глазах.

— Это ужасно заинтересовало бы моего старика, — сказал Крюгер. — Ведь он выписывает буквально все журналы, где об этом можно прочесть. Эх, говорит, знал бы ты, до чего это здорово!

— А кто он, ваш отец? — спросил я.

— Машинист на железной дороге, — ответил он почти угрожающим тоном, словно подозревал у меня скрытую неприязнь к железнодорожным машинистам.

— Тяжелая, очень ответственная профессия, — сказал я серьезно.

— О да! — Помаленьку оттаивая, Крюгер рассказал, что отец его водил даже восточный экспресс и уже дважды включал экстренное торможение. Раз — из-за стада коров, за-

бредшего на рельсы, а другой — из-за обвала камней, засыпавших путь. Все обошлось благополучно, только во второй раз локомотив — тяжелый электровоз последней конструкции — сошел с рельсов; однако и тогда никто из пассажиров не пострадал.

Хотя Крюгер и старался, как свойственно молодым людям, говорить в небрежном и развязном тоне, чтобы скрыть свои настоящие чувства, нетрудно было заметить, что юноша очень привязан к отцу и глубоко его чтит. Мать его умерла много лет назад, братьев и сестер не было. Отец жил в городе, расположенном в шестидесяти километрах от Х., но домой попадал не часто — такая профессия! Сам же Крюгер жил в студенческом общежитии университета.

Около полуночи я хотел прервать работу, но Крюгер запротестовал: «Я готов поработать еще немного, располагайте мной. Выспаться успею и завтра. Не находите ли вы, господин доктор, что эта проводка для пятнадцати ампер слабовата? Дайте-ка я сейчас ее заменю. Провод у вас еще есть?»

Наша работа увлекла Крюгера. Его энтузиазм не пропал и в следующие вечера, так что к 16 октября у нас почти все было готово.

— Завтра произведем генеральную пробу, — объявил я, когда мы с ним уже глубокой ночью отмечали наш успех стопкой водки.

— Завтра... завтра, к великому моему сожалению, я не смогу, — смущенно пробормотал Крюгер, и мне показалось, что он чуточку покраснел.

— Ну, хорошо, — улыбнулся я ободряюще,

испытывая, правду сказать, некоторую долю зависти. — Надо вам немножко развлечься. Генеральную пробу я могу произвести и без вас.

Ему как будто было жаль пропустить опыт, но для некоторого самоутешения он спросил:

— Правда ведь, за последнее время в космос не запускали новых ракет?

— Нет, нет, ракет не запускали! — поспешил я его успокоить.

Сейчас я пишу об этом во мраке ночи, в палате сумасшедшего дома! Работаю тайно, полуприкрывшись одеялом, в слабом луче от фонаря. Пишу украденным карандашом на украденной бумаге, словно подвожу всему этому итог. Но если бы меня спросили, какой день я считаю самым счастливым в жизни, то и сейчас, ни минуты не колеблясь, я назвал бы 17 октября. Для меня он значил примерно то же, что для Роберта Коха — день, когда он открыл бактерию туберкулеза, для Рентгена — день, когда он впервые увидел костяк собственной руки, а для Эйнштейна — дата того солнечного затмения, когда подтвердилась правильность теории относительности...

А вслед за воспоминанием о величайшем дне моей жизни приходят мысли о том, как обывательская тина засосала мой труд со всеми его возможностями, а сам я в это время беспомощно барахтался, вместо того чтобы проявить всю энергию, приложить все силы к спасению достигнутого. При этих мыслях я испытываю безграничный стыд и глубокую печаль. Я сделал научное открытие, но оно бесплодно, если человек, совершивший его, не

проявит мужества и решимости, чтобы отстоять открывшуюся истину. На весах судьбы добытая истина оказалась легковесной — весы склонились под грузом моих трудностей: я отступил! Теперь нет смысла предаваться запоздалым сетованиям, надо спасать, что можно. Боюсь, что удастся спасти немного! Как бы там ни было, 17 октября остается величайшим днем моей жизни, в буквальном смысле моим звездным днем.

После этого, признаться, довольно скорбного отступления постараюсь теперь как можно более точно и деловито описать события того памятного дня, вернее, той ночи.

Итак, часов около восьми я поднялся к себе на чердак. Быть может, это лишь позднейший плод моего воображения, но помнится, будто я уже поднимался в тот раз на чердак с каким-то особенным, почти мистическим предчувствием. Оно подсказывало, что именно в ту ночь произойдет что-то из ряда вон выходящее. Во всяком случае, помню ясно, как дрожала моя рука, когда я включал аппараты. Целый час у меня заняла проверка и настройка. Все функционировало превосходно, мы с Крюгером поработали на славу. Представив себе, как бешено крутится внизу, в сенях, наш электросчетчик, я выключил стосвечовую лампу. Все-таки хоть маленькая, но экономия! На чердаке стало почти совсем темно; сложную путаницу стропил и балок, затянутых паутиной, объял густой непроницаемый мрак. Лишь контрольные лампочки приемника, блестящие, как маленькие глазки, среди конденсаторов и катушек, давали немного света. Он позволял

достаточно ясно различать ручки настройки. Чтобы не чувствовать себя, как в темнице, и точнее направить антенну, я открыл люк. Погода и в тот вечер выдалась очень ясная; в черных глубинах космоса синеватым электрическим светом поблескивали звезды.

В двадцать один час пятнадцать минут я надел наушники и начал настраиваться. Сначала ничего не было слышно, кроме атмосферных шумов и тресков. После того как мы вмонтировали огромной мощности усилитель, помехи, конечно, стали слышнее. В слабом желтоватом отблеске контрольных ламп я настраивал аппаратуру так же, как при прежнем опыте, медленно двигая антенну и меняя частоту. И вдруг я снова услышал то отрывистое жужжание. Сначала едва слышное, почти намек на звук; он еле пробивался из бесконечной дали сквозь зыбкую пелену посторонних шумов.

Очень осторожно, с плотно сжатыми от напряжения губами, я вращал ручки и менял положение антенны, постепенно улучшая слышимость. Прошло еще с полчаса, и я добился своего: звук уже не исчезал! Хотя он и оставался еще очень слабым, временами почти неслышным, но больше не исчезал. Он оставался, оставался!

Правильно рассчитано! Я перевел дыхание и с насмешливым торжеством подумал о чопорных господах из франкфуртского концерна, так холодно и высокомерно меня высмеявших. Конечно, они ничего не знали о моем теперешнем успехе, а если бы и знали, то, верно, отнеслись бы к нему с полнейшим равнодушием,

но это ни в коей мере не портило мне торжества. А через пять минут воспоминание о франкфуртских господах сделалось мне абсолютно безразличным, ибо теперь я весь был поглощен загадкой таинственных сигналов.

Хотя в прошлый раз я и слушал их в течение нескольких минут, сейчас их последовательность показалась мне иной. Бумагу и карандаш я придвинул поближе к свету контрольных ламп и почти механически начал записывать. При одинаковой высоте тона повторялись знаки одинаковой продолжительности. Их сочетания отличались друг от друга количеством знаков. Потом наступала короткая пауза, после которой все повторялось снова; затем — новая, более продолжительная пауза, и вслед за ней — опять сигналы, притом в большем количестве. На бумаге это выглядело так: -----

и так далее. Подсчет сигналов каждой группы дал следующие комбинации цифр:

2—4 3—7 4—9 5—11 6—12

Дальше пошло в том же роде, но удивительно быстро и со все большим количеством знаков между короткими и длинными паузами. Поспевать за таким темпом становилось все труднее. Комбинацию 84—210 я еще кое-как записал, но дальше мои пальцы будто свело судорогой и записывать я был уже не в состоянии. А жужжание между тем не замолкало. Вскоре стало трудно поспевать и за счетом — число знаков уже превысило две сотни; я был слишком взволнован, чтобы удерживать в памяти точные цифры. Внезапно все оборвалось.

Тишина продлилась так долго, что я совсем уже было решил — на сегодня конец, но вдруг сигнализация возобновилась. Казалось, что таинственный сигнальщик немного передохнул, а потом начал все сызнова: опять сперва пошли малые комбинации сигналов с более длинными паузами между ними. Но на этот раз соотношение между отдельными группами знаков было иное:

1—2 1—3 2—4

Затем долгий жужжащий звук, то нарастающий, то ниспадающий. В нем было даже что-то грозное. Вот так и шла эта передача сигналов примерно в течение часа. Я исписал десять страниц, потом отбросил карандаш и некоторое время сидел в задумчивости, глядя в пустоту. Я испытывал странное волнение.

Что это могло быть, откуда шло и что означало? Это не могло быть чем-то случайным и хаотичным — слишком четко проступала систематичность сигналов. Но, просмотрев еще раз занесенные на бумагу знаки, я лишь сокрушенно покачал головой. Нет, этой загадки мне не разгадать! С известной азбукой Морзе, которой я кое-как владел, это не имело ничего общего. На первый взгляд сигналы представлялись почти бессмысленными. Может быть, шифрованная передача? Но откуда и для кого?

Я встал и вгляделся в звездное небо, словно ища в нем ответа. Меня проняла дрожь — ночь была очень прохладной. А может, меня всего передернуло от страха перед этой тайной. Но все-таки привычка к строгому, систематическому мышлению дала себя знать. Снова я уселся на место и при свете контрольных

ламп приступил к вычислениям. От волнения я был так рассеян, что не сообразил зажечь свою стосвечовую, чем весьма и весьма мог бы облегчить себе работу.

Направление антенны? Частота? Степень усиления? Оперирова этими данными, я вычислял около получаса. На церковной башне Грюнбаха пробило полночь. Закончив, я смущенно покачал головой и в последний раз прошелся карандашом по рядам цифр. Ошибки нет. Все верно! Да неужто это возможно?

И вдруг, как ослепительная вспышка света, мелькнула в моем мозгу догадка. Через открытый люк я напряженно, не мигая вглядывался в небесную бездну. Холод пробежал по спине; должно быть, и в самом деле у меня волосы встали дыбом. Ведь получается, что сигналы-то не с Земли и не с какой-нибудь ракеты, посланной с Земли. Эти сигналы посланы... со звезд!

Расчет показывал, что при моей схеме приема и усиления, а также при мощности передатчика всего в десять ватт он, этот передатчик, должно быть находится на расстоянии около девяти сот миллионов километров от Земли, то есть далеко за орбитой Юпитера. А туда не проникали ни человек, ни ракета, запущенная с Земли!

Придя к этому заключению, я сначала просто растерялся, лишился способности логически мыслить. Подавленный грандиозностью тайны, на след которой напал, испытывая некоторую, еще не совсем осознанную гордость за свою схему, обеспечившую это открытие, переживал я тогда одно из прекраснейших

мгновений, какие только суждены ученому. Мне удалось то, что до меня не удавалось никому; я узнал нечто до меня никому не известное. Даже когда улеглось первое волнение, я все оставался как в лихорадке и неотрывно, будто загипнотизированный, смотрел в бесконечные звездные пространства, пока наконец не заставил себя спуститься вниз и тихонько лечь в постель.

Не удивительно, что все три часа до рассвета я так и не смог уснуть. Рядом спокойно дышала спящая жена. Не разбудить ли? Не поведать ли о своем открытии? Я горячо желал иметь в тот миг собеседника, чтобы поделиться с ним переполнявшей меня радостью, и уже протянул было руку, чтобы коснуться плеча жены, но так и не отважился на это. «Нет, — подумал я с оттенком горечи, — нет, она может и не понять всего, а там, чего доброго, еще спросит, откуда я достал денег на аппаратуру. Нет, лучше не надо...»

Постепенно мысли мои приходили в порядок, становились систематичнее. Чем могли быть вызваны сигналы? Может быть, мощными физическими процессами в космосе? Следствием этих процессов явились те космические радиоволны, что давно уже принимаются многими обсерваториями на земном шаре. Но откуда же тогда эта явно закономерная последовательность сигналов, пусть абсолютно непонятная? Да и длины этих известных доселе космических радиоволн бывали совершенно иными. Значит, принятые мною сигналы шлют какие-то живые и разумные существа? Уже делались попытки — например, в Англии —

ловить такого рода сигналы из Вселенной, но до сих пор эти попытки оставались безуспешными. Все умозаключения и гипотезы в данной области до сегодняшнего дня не находили подтверждения. И если я выступлю с заявлением, будто мне удалось связаться с обитателями других планет, ни один человек не поверит мне на слово. Понадобятся более убедительные доводы, чем несколько черточек, нанесенных на листок бумаги. Но уж если я действовал в одиночку, подумал я с некоторым упрямством, то смогу это делать и впредь, пока не получу в руки неопровержимых, полноценных данных, чтобы потом одним ударом достичь, как я воображал, вполне заслуженной славы.

Трудно описать мое состояние во все последующие дни. Физически я, конечно, переутомился так, что у меня руки тряслись. Но мозг напряженно работал, мысли бешено крутились вокруг открытия и не давали мне ощутить ни малейшей усталости. Выглядел я, наверное, ужасно: бледный и осунувшийся, с покрасневшими веками, резкими складками на лице, взъерошенными волосами. Внешность человека, долго предававшегося каким-то изнуряющим излишествам или просто-напросто больного. Я помню, как встревоженно жена приглядывалась ко мне утром за завтраком. Ее тревога усилилась, когда она увидела, что я, как был, непричесанным и небритым, уже собрался укатить.

— Ради всего святого, что с тобой творится? Ты забыл надеть пиджак, нельзя же в такую пору ехать в одной рубашке! — Это она воскликнула, уже поймав меня в выходных

дверях, и в ее голосе прозвучал откровенный ужас.

И в институте тоже я не раз давал моим студентам повод для удивленных покачиваний головами и насмешливых улыбок, потому что проявлял такую рассеянность, что, например, совсем не заметил, как чрезвычайно старательный, но мало смысленный Мюллер подключил высокочувствительный гальванометр непосредственно к электрической сети. И только грандиозный фейерверк с коротким замыканием и клубами дыма, поднявшимися над жалкими остатками дорогого прибора, наглядно доказали мою невнимательность. Излишне добавлять, что этот неудавшийся эксперимент вызвал у товарищей Мюллера приступ шумного веселья, особенно когда они увидели лицо несчастного, искаженное дурацкой гримасой страха. Мне это происшествие доставило неизмеримо меньше удовольствия, потому что теперь предстояло подать соответствующий рапорт об утрате гальванометра — единственного, которым я располагал, — и я уже заранее представлял себе отнюдь не радостную реакцию профессора фон Егера, когда я положу ему свой рапорт на стол.

Естественно, что и Крюгер, мой верный помощник, принял участие во всеобщем веселье и хохотал во все горло. Когда же он в перерыве подошел ко мне и еще со следами улыбки на лице спросил, хорошо ли функционирует аппаратура, его взгляд скользнул по моему лицу, и в нем выразилось удивление.

— Она функционирует, Крюгер, функционирует безупречно! — заверил я его.

— И вы что-нибудь слышали? — продолжал он допытываться, но я ограничился в ответ лишь кратким и многозначительным:

— Да, слышал.

Больше я не захотел ничего добавить, и любопытство Крюгера было настолько возбуждено таинственной краткостью моего ответа, что он после некоторого колебания спросил, можно ли ему приехать ко мне сегодня вечером. Видимо, решение это далось ему нелегко: он тоже был сегодня в каком-то возбужденном состоянии. Но, конечно, причины этого были иные, чем у меня.

— Приезжайте, Крюгер, приезжайте. Возможно, что сегодня будет очень интересно, — сказал я, — а пока что окажите мне услугу и присмотрите за вашими товарищами, чтобы не повторилось чего-нибудь подобного. У меня сегодня голова занята совсем другим.

— Охотно, господин доктор! — отозвался Крюгер, явно польщенный возложенной на него ролью моего помощника. И, пока я уединился в уголке с моими вычислениями и чертежами, Крюгер принялся поучать томного чиновничьего сына:

— Не так включаешь, идиот! Разве не видишь: здесь — плюс, а там — минус? Еще немного, и все полетело бы тебе в морду! Нет, ты и в самом деле безмозглый олух!..

Как видите, Крюгер великолепно выдержал возвышенный, строго академический тон!

Мне разрешили некоторые льготы; вероятно, этим я обязан профессору. Сегодня, например, меня сводили в библиотеку и позволили выбрать книгу в присутствии доктора Бендера. Нелегкий выбор, потому что библиотека здешнего заведения составлена преимущественно из книг, претендующих на юмор. Радости от них мало. Это весьма примитивные романы, в которых жизнь изображается как непрерывная смена пошлых и забавных положений. Герои этих историй пребывают в полном достатке и изобилии, чаще всего на Ривьере. Остальные книги этой библиотеки — назидательные брошюры для обращения в христианскую веру и жития святых, — по-видимому, рекомендованы священником, обслуживающим больницу.

В конце концов я взял один том наугад. Это оказался роман под названием «...И она любила своего господина директора!» Такая проблема мало меня трогает, и, конечно, я не собирался читать эту книгу. Наверное, уже после первых двух страниц на меня напала бы зевота от скуки. Тем не менее я взял книгу с целью полностью использовать любую льготу, а главное потому, что этот том было удобно подкладывать ночью под мою рукопись.

Во всяком случае, позволение брать книги служит симптомом того, что доктору Бендеру не удалось даже ценой отчаянных стараний добиться неопровержимого диагноза моего психического заболевания. Я в этом не виноват, но

он исполнен такой мрачной злобы против меня и собственной медицинской некомпетентности, что его просто становится жалко. Даже примененная ко мне успокоительная система лечения больше его не радует; как знать, может быть, он придумает что-нибудь новое?

— Для вас же будет лучше, если вы хоть немного пойдете мне навстречу и перестанете так упрямо замыкаться в себе,—сказал он сегодня при обходе почти угрожающим тоном. Но как я могу помочь этому несчастному? Признанием собственного сумасшествия и отказом от того, в чем я непоколебимо убежден? Нет, я не собираюсь для его удовольствия совершить что-либо такое, в чем уже отказал даже профессору!

Гораздо важнее этих мимоходом отмеченных мелочей другое обстоятельство: теперь мне будут передавать все приходящие на мое имя письма. Каждое утро я с робкой надеждой смотрю на сестру, когда она появляется в палате. Но на подносе, который она несет, сопровождая доктора Бендера, не оказывается ничего, кроме историй болезней и термометра. Письма мне нет, нет ничего от Крюгера. Известно ли ему вообще, что меня держат здесь? Обдумав этот вопрос обстоятельно и трезво, я пришел к заключению: нет, скорее всего, это ему неизвестно. Я не имею ни малейшего понятия, где может сейчас находиться Крюгер. Мрак неизвестности, в котором он исчез, непроницаем, и мне никак не отделаться от опасения, что своими неосторожными поступками я впутал в беду и его. Неужели судьбы Крюгера и Янека тоже тяготеют над моей совестью? Временами

я чувствую себя чудовищно одиноким и приходится напрягать все душевные силы, чтобы не впасть в полную панику. Это оказалось бы очень на руку доктору Бендеру! Все, что со мной происходит, не кара ли за какие-то грехи? Но, отвечаю я себе на это почти в бешенстве, если это кара, то давно пора ее прекратить. Между тем конца не видно. И тем мучительнее для меня воспоминание о вечере, когда мы стояли с Крюгером на чердаке и я с таинственной улыбкой говорил ему:

— Теперь и вы послушайте, Крюгер! Только настоятельнейше прошу — храните все в абсолютной тайне! Никому ни намека!

— Даю вам самое торжественное честное слово, — ответил он, немного удивленный; на него не произвели особого впечатления и мои манипуляции: я открывал люк, включал приемник и устанавливал антенну.

Сначала я намеревался никому ничего не говорить про сделанное мною открытие, но просто-напросто не выдержал. Ведь прелесть самой ценной тайны теряется, если никому не известно, что ты обладаешь такой тайной. Сыграли свою роль и тщеславие, и жажда признания... Короче говоря, я решил посвятить в свою тайну пока хотя бы Крюгера, тем более что оказанные им услуги давали ему некоторое право на это.

А он между тем, казалось, и не слишком-то дорожил возможностью приобщиться к моей тайне. Я даже смог заметить в полумраке чердака, как он украдкой зевнул, прикрыв рот ладонью. Но все это мгновенно изменилось, когда, покончив с приготовлениями, я надел науш-

ники. Сигналы я услышал тотчас же и даже еще более четко, чем накануне.

— Вот, Крюгер, послушайте-ка! — И я не без торжественности протянул ему наушники.

Он надел их небрежно, чтобы доставить мне удовольствие, не больше. Я напряженно следил за выражением его лица, слабо освещенного желтоватым светом контрольных ламп. Сто-свечовую лампу я опять выключил. На этот раз не столько из экономии — в моем состоянии ли-хорадочного подъема мне уже было не до хозяй-ственного бюджета, — сколько для того, чтобы сцена вышла поэффектнее. В полумраке, когда звезды были виднее, получалось красивее. Кто из вас не тяготеет к театральным эффектам? Я наблюдал, как расширились глаза Крюгера: он услышал в наушниках тонкое жужжание.

— Что же это такое, господин доктор? Ведь сейчас в космосе нет никаких ракет, — прого-ворил он, крайне удивленный. Мне показалось, что, прислушиваясь к этим бесконечно дале-ким, странно настойчивым звукам, и он про-никся тем же чувством, похожим на мистиче-ский ужас, которое я уже испытал.

— Что же это такое? — повторил он свой вопрос чуть не умоляюще. Рот его полуоткрыл-ся, с выразительного молодого лица исчезли всякие следы наигранного равнодушия и высо-комерия; сейчас все его существо жаждало от-вета на вопрос огромной важности.

— Я скажу вам, Крюгер, что это такое, — проговорил я и торжественным, патетическим жестом указал на темные звездные бездны, — эти звуки идут из космоса, со звезд. Вы, после меня, первый человек на Земле, кто их слышит.

Он вытаращил на меня глаза и некоторое время ничего не мог выговорить.

— Нет, невозможно... Но ведь это же... это... невероятно... — удалось ему в конце концов произнести так тихо, словно он боялся о подобных вещах разговаривать вслух. В правильности моего утверждения он — мне это было ясно! — ни на секунду не усомнился. Недоверчивость и скепсис испытанных ученых еще не коснулись этого молодого ума.

Я объяснил ему кое-что дополнительно, и минутой спустя он уже так освоился с этой мыслью, что его изумление перешло в восторг, свойственный лишь очень молодым людям.

— Доктор! Друг мой! Но ведь это же грандиозно! Черт возьми, нет... Это просто безумие какое-то! — с сияющими глазами выкрикивал он и размахивал руками.

Он даже настолько забылся, что изо всех сил хлопнул меня по плечу — фамильярность, которую я, учитывая его возбужденное состояние, принял с кроткой улыбкой. Потом он немного успокоился, еще раз послушал жужжание в наушниках, благоговейно глядя на звезды расширенными зрачками, словно пытаясь разглядеть неведомые существа, посылающие свои сигналы.

— Но как это называется, господин доктор? И от кого исходит? — спросил он.

— Этого я и сам еще не знаю. Теперь нам как раз и предстоит заняться выяснением этой загадки. Возьмите вторые наушники и точно отмечайте на бумаге все, что услышите. Посмотрите, как это делается. Вот моя вчерашняя запись. Не пренебрегайте ни единой де-

талью, фиксируйте каждый сигнал! — Я отдавал ему распоряжения со всей строгостью и деловитостью.

— Разумеется... пожалуйста... сейчас... все запишу... — Он был полон лихорадочного рвения. В его взгляде выражалось столько уважения к моей персоне, столько преклонения перед моим авторитетом, столько готовности угадывать мои желания по одному намеку, чтобы сделаться достойным доверия помощником, что сейчас, когда я об этом вспоминаю, у меня мучительно сжимается сердце. Казалось, он забыл, что такое усталость, и мы просидели с ним на чердаке до двух часов ночи. Плодом нашего ночного бдения была кипа листков, испещренных черточками, в которых я ориентировался все меньше и меньше. Уже в самом начале нашего опыта я убедился, что последовательность сигналов сегодня совершенно иная, чем накануне. Теперь шли, к примеру, такие комбинации:

7—14 8—16 6—12 14—28 26—56

с соответствующими паузами между ними. Хотя и в таких комбинациях можно было предполагать наличие какой-то системы, но мне эти сочетания представлялись еще беспорядочнее, нежели вчерашние. Загадка становилась все сложнее, все неразрешимее. Прежде чем переходить к дальнейшим расчетам и гипотезам, я хотел во что бы то ни стало выяснить значение этих сигналов, так как считал, что именно в них таится ключ к пониманию всего дальнейшего. Когда мы с Крюгером сопоставили наши записи — к двум часам по-

полуночи сигналы сделались слабее и почти перестали быть слышны,— я чуть не впал в отчаяние. Неужели я заблуждался и все объяснялось обычными процессами излучения различных объектов Галактики, то есть за сигналами не скрывалось ничего, кроме естественных явлений природы? И можно ли вообще разгадать эту загадку без помощи специальных аппаратов?

— Чему они должны соответствовать: буквам какого-то языка? Зашифрованному сообщению? Черт его знает, я здесь окончательно теряюсь... — С этими словами я показал Крюгеру мою вчерашнюю запись. — Видите, как это выглядело вчера. Совершенно по-другому! А между тем, несомненно, это те же самые сигналы.

Крюгер с минуту напряженно думал.

— И все же это остается грандиозным. А загадку мы непременно разгадаем! — воскликнул он с оптимизмом юности.

Из нас двоих он-то в конце концов и разгадал загадку. Пусть не сразу, но разгадал.

Многие часы вечерних бдений у моих аппаратов не сделали меня умнее. Было все то же: жужжащие звуки с определенными промежутками, с переменным числом знаков, долгими и краткими паузами между группами знаков... Я все записывал, насколько мог, точнее, но мало-помалу переутомление и систематическое недосыпание дали себя знать. Раз или два, незаметно для себя задремав у приемника, я в полудремоте мучился страшными сновидениями. Мне снились звезды, которые, наподобие исполинских светящихся шаров, катились в

мировом пространстве; мерещились существа, похожие на чудовищных прозрачных медуз, — они мчались верхом на электромагнитных волнах и насмешливо смотрели на меня горящими глазами... В испуге я просыпался и видел, что это всего лишь контрольные лампы приемника. Наводил антенну и снова слушал тонкое жужжание, смысл которого оставался мне по-прежнему непонятным.

Не удивительно, что при таких обстоятельствах страдала и моя работа в институте. В течение целого дня я с трудом преодолевал сонливость и, даже сидя напротив профессора фон Егера, ловил себя на том, что у меня слипаются глаза. Резкий выговор, полученный мною от профессора фон Егера за сгоревший гальванометр, я принял с таким равнодушием, что это еще более распалило его и он произнес возмущенную тираду, в которой я уловил что-то о недостаточно добросовестном выполнении служебных обязанностей и о неприятностях со стороны влиятельных лиц. По-видимому, отец томного юноши, высокопоставленный государственный чиновник, пожаловался профессору фон Егеру, что Крюгер назвал его сына безмозглым олухом и идиотом.

Я не очень-то принял к сердцу эти неприятные мелочи, потому что даже во время гневной речи моего начальника опять думал только о загадке сигналов. По тому почти брезгливому взгляду, каким профессор фон Егер окинул мою персону, было нетрудно догадаться, что я выгляжу сегодня еще хуже, чем обычно. Покрасневшие веки, плохо выбритое, одутловатое лицо, стоящие торчком волосы... Жена

уже давно считает, что я серьезно болен, и закликает меня обратиться к врачу.

Когда я на четвертый день проводил практические занятия с группой, в которой был Крюгер, последний сделал мне украдкой знак, что хочет со мной переговорить. Может быть, он чувствовал себя обиженным, что я больше не приглашал его к себе? Но мне не хотелось его слишком переутомлять.

— В чем дело? — спросил я и отошел с ним в угол, где остальные студенты не могли нас слышать.

Крюгер казался очень возбужденным.

— Послушайте, господин профессор! Я очень много об этом думал, — кипя от волнения, заговорил он. Очевидно, я успел настолько возвыситься в его мнении, что он присвоил мне научное звание, которым я, увы, не обладал. — Что было в первый вечер, еще до меня? Не упоминали ли вы, что вам удалось насчитать девяносто групп сигналов? А не было ли их девяносто две или даже больше?

— Вполне возможно. Я, помнится, считал в тот раз недостаточно точно. Но почему вы об этом спрашиваете?

И вдруг свет озарил меня. Как я не догадался раньше! Ведь это же так просто! Периодическая система! Я хлопнул себя ладонью по лбу, отчасти из досады на свою несообразительность, отчасти — в приливе радости. Еще и еще раз подтвердилось, каким бескрылым, лишенным воображения рутинером бывает иногда ученый. Он, как старая извозчицья кляча, трусит с шорами на глазах, а непредвзятый юный ум еще способен свободно всмат-

риваться вдаль, как в данном случае, когда Крюгер почти с первой попытки напал на верный след.

Записей того вечера при мне не было, и я едва мог дожждаться, пока вернусь домой. Поставив велосипед в сених, я сразу бросился на чердак. От усталости не осталось и следа.

Догадка Крюгера подтвердилась! Его гипотеза оказалась правильной! Как ни смешно это звучит, но сам я не догадался, по всей вероятности, лишь потому, что атомная физика, собственно, не относится к моей специальности в узком смысле. Теперь, когда я внимательно просмотрел листки с записями, у меня будто пелена упала с глаз. Сигналы, принятые в первый вечер, и именно в самом начале, были не чем иным, как передачей системы химических элементов, открытой на Земле еще в XIX веке Менделеевым и ныне упорядоченной в соответствии с современным состоянием науки. Первое число в группе знаков означало величину положительного заряда атомного ядра; число это соответствует порядковому (атомному) номеру элемента в периодической системе, то есть числу протонов в атоме; сигнал после краткой паузы означал массовое число (то есть число нуклонов), иными словами, число, ближайшее к атомному весу изотопа и указанное в округленных целых цифрах. Разумеется, эти числа действительны для всей Вселенной, как основной закон ее структуры. В мою запись не попал атом водорода, — очевидно, я начал записывать передачу не с самого начала. Первые числа, которые я записал, были: 2—4. Это, разумеется, была характеристика гелия (по-

рядковый атомный номер — 2, массовое число — 4); далее шел литий (3—7), бериллий (4—9) и так далее. Я поспеивал записывать таблицу вплоть до характеристики полония (84—210). Немудрено, что дальше запись сделалась уже непосильной: ведь для урана, например, пришлось бы зафиксировать комбинацию 92—238. Итак, даже если в моих записях имелись пропуски, сомнений быть не могло.

Потрясенный открытием, я достал из шкафа учебник химии с соответствующими таблицами и сравнил.

Атомный вес изотопа определяется количеством тяжелых частиц (протонов и нейтронов), составляющих атомное ядро, и выражается у нас в десятичной системе. Существа, от которых шли сигналы, придерживались округленных ради простоты массовых чисел. Как показал простейший подсчет, их числа почти не обнаруживали отклонений от принятых у нас. Это вроде бы подтверждало правильность нашей земной гипотезы, возникшей из анализа вещества метеоритов, а именно что соотношение количества различных элементов примерно одинаково не только во всей нашей солнечной системе, но и во всей Галактике. Как назывались эти элементы на языках тех существ, мне, разумеется, было неизвестно, но для точных наук это не играет никакой роли.

В восторженном настроении, почти в трансе, размышляя о своем открытии. Затем, немного успокоившись, принялся снова исследовать записи. Теперь, когда ключ к ним был найден, все представлялось уже не путанным и темным, а, наоборот, казалось залогом новых

открытий, от которых захватывало дух. Меня завела бы слишком далеко попытка повторить все эти мысли здесь, на листках блокнота, принадлежащих психиатрической больнице. Расшифровка принятых сигналов имеется в моих конфискованных тетрадах, от двадцать первой до двадцать пятой включительно. Здесь я ограничусь лишь самым существенным.

Так, например, я без труда распознал по серии принятых сигналов указание на ядерный процесс, который происходит при взрыве ужасной водородной бомбы. Сначала шло 1—2 и 1—3. Атомный номер — 1, массовое число — 2, это дейтерий; 1—3 означает тритий; дейтерий и тритий — это те изотопы водорода, при помощи которых у нас на Земле впервые удался чудовищный эксперимент — взрыв водородной бомбы. Далее следовали атомные номера и массовые числа некоторых промежуточных производных, вплоть до гелия... Все это — вещи элементарные для каждого атомного физика. Любой желающий легко может прочесть об этом в соответствующих пособиях. Я хочу ограничиться лишь самым главным, то есть теми предположениями и выводами, которые я в конечном итоге из всего этого извлек.

Прежде всего возникал вопрос: для чего? Простая ли это информация или нечто большее? По мере углубления в анализ у меня складывалась все более твердая уверенность, что сигналы были задуманы как предостережение или даже угроза. Если так, то чья и кому? Направлено это предостережение вообще в космос или специально адресовано Земле? При неслыханно огромном расстоянии, отде-

лявшем от нашей Земли тех, кто посылал эти сигналы, едва ли вероятно, чтобы они оттуда могли наблюдать эксперименты с атомными взрывами на нашей планете. Во всяком случае, разрешающая способность наших даже самых гигантских оптических приборов абсолютно бессильна перед такой задачей. Но, может быть, те существа располагают совершенно иными возможностями? Может быть, они в состоянии по отражению посланных ими электромагнитных волн регистрировать радиоактивные облака и радиоактивную пыль, которые — хотя и невидимые для наших глаз, но губельные и разрушительные — долго парят над Землей после каждого такого эксперимента? А кроме того, — время, время! Сколько же времени прошло между регистрацией взрывов, посылкой электромагнитных волн на Землю и возвращением волн к ним — таинственным сигнализаторам?

Как это часто бывает, чем больше я анализировал и гадал, тем непроницаемее становилась загадка. Поэтому я вынужден был признаться самому себе, что многое, уже как будто выясненное, на деле еще очень нуждается в веских доказательствах, а подчас вообще основано лишь на предположениях. Но в ту пору я надеялся ревностно копить дальнейшие факты и искать в анализе сигналов незыблемое подтверждение моей гипотезы.

В тетради двадцать восьмой собраны некоторые, пусть с пробелами, попытки доказать ее. Конечно, многое успело ускользнуть из моей памяти. А может, я и в самом деле был тогда безумен, стал жертвой собственного воображе-

ния? Даже и подобная мысль мне сейчас не так страшна, как может показаться; ведь я отдаю себе полный отчет в том, что великие истины так или иначе, но обязательно должны восторжествовать. Кроме того, и Крюгер тогда должен быть таким же сумасшедшим, как и я, даже гораздо бóльшим! Ибо в те ночи, что мы вместе проводили на чердаке, он дополнял мои гипотезы своей безудержной, бьющей через край фантазией молодости, помогал мне преодолевать многие сомнения и в конце концов неколебимо поверил в правильность моих выводов.

Встречаясь со мной в институте, он стал одолевать меня просьбами — непременно позволить ему опять приехать вечером в Грюнбах.

— Ваша подруга не согласится долго терпеть такого пренебрежения, а потом это навлечет ее гнев и на меня, — отшучивался я. Однажды я видел, как Крюгер выходил из университета под руку со своей девушкой. Восхитительное черноволосое существо! Складки ее короткой, просторной юбочки красиво вились и скользили вокруг очень стройных ног.

— Нет, Инга не такая. Она у меня все прекрасно понимает, — объявил Крюгер уверенно и гордо.

— Значит, вы ей обо всем рассказали? Вы же обещали молчать, — сказал я с укором и погрозил покрасневшему Крюгеру пальцем.

На какую-то секунду я почувствовал тайный укол в сердце и лишь потому так быстро отделался от этого приступа душевной боли,

что восторг открытия все еще переполнял меня и для иных чувств не оставалось места в сердце. Иначе я должен был бы остро позавидовать Крюгеру: обладать такой всепонимающей возлюбленной — это огромное счастье!

Попытаюсь еще раз как можно точнее изложить гипотезу, которую мы — Крюгер и я — в конечном итоге построили о существах, посылавших сигналы.

Откуда шли эти сигналы?

Вначале я еще не осмеливался делать слишком дерзкие предположения и думал о какой-нибудь из планет нашей солнечной системы. Однако весьма маловероятна и, во всяком случае, никем не доказана гипотеза о существовании, скажем, на Марсе или Венере таких же высокоорганизованных форм жизни, как на Земле. Условия там слишком неблагоприятны; они пригодны разве что для низших форм животного и растительного мира. На отдаленных планетах, например на гигантском шаре Юпитера, высокоразвитые формы жизни еще менее вероятны. Атмосфера Юпитера состоит из метана, аммиака и водорода, и в ней неистовствуют страшные бури. Некоторые ученые считают, что возможна жизнь на спутниках Юпитера, хотя там при огромной отдаленности от Солнца должен царить ужасный холод. Что же касается принятых нами радиосигналов, то их источником никак не могли быть планеты солнечной системы или их спутники; в часы приема радиосигналов они находились либо в другой части небосвода, либо были вовсе вне поля зрения.

К сожалению, я никогда не отличался особыми познаниями в астрономии, да и то, что знал, большей частью успел забыть: всегда приходилось уделять главное внимание своей прямой специальности. Ученый-астроном и специальные приборы могли бы очень помочь тогда, но до поры до времени никому не хотелось доверяться. Пришлось поэтому довольствоваться двумя-тремя руководствами по астрономии, взятыми из университетской библиотеки. В качестве астрономического прибора для наблюдений служила мне старая подзорная труба, доставшаяся в наследство от покойного отца. Я установил ее на штативе рядом с антенной.

Можно было также допустить — от такого предположения просто дух захватывало! — что сигналы шли с планет других звездных систем, ближайших к нашей солнечной системе. В самом деле, не слишком ли самонадеянно воображать, будто среди бесконечного множества созвездий только в нашей солнечной системе имеется планета, населенная разумными существами? Предположить что-либо подобное значило бы по меньшей мере повторить ошибку Птолемея, считавшего Землю центром всего мироздания. Лишь один наш Млечный Путь насчитывает приблизительно миллион солнц; вокруг них кружатся планеты, на которых возможна жизнь, как и на нашей Земле. Но расстояние даже до ближайших систем равняется многим световым годам. Ближайшая к нам звезда Проксима в созвездии Центавра отстоит от Земли на 4,3 световых года, сверкающий Сириус — уже на 8,8 световых лет. Однако

в результате изучения этого вопроса пришли к выводу, что и там нет обитаемых планет. Английские и американские ученые настраивают поэтому свои гигантские антенны на другие звезды, которые, по их мнению, сулят большие надежды на успех. Удалось же это мне, мне первому!

После долгих наблюдений, измерений и штудирования звездных карт я установил с колебимой достоверностью, что сигналы шли с той стороны, где расположено созвездие Лиры, а наибольшая интенсивность звука наступала всякий раз, когда антенна была направлена на звезду Вега. Эта красивая звезда — ярко светящее исполинское солнце — отделена от нас расстоянием приблизительно 26 световых лет! Допустив, что сигналы шли с одной из планет Веги, и приняв во внимание уменьшение интенсивности электромагнитных волн с квадратом расстояния, можно было заключить, что там действовал передатчик такой неслыханной мощности, какую мы при наших технических возможностях даже не в состоянии себе представить.

А может быть, неизвестные существа запустили в космос огромную ракету, которая посредством очень мощного передатчика и послала свои сигналы?

Я должен повторить еще раз, что и по сегодняшний день истинная природа этих сигналов мне в точности не известна, но в результате многих опытных проверок и на основании некоторых конкретных данных я смею думать, что правильно угадал их сущность. Они действительно были чем-то вроде предостережения

или призыва. В сигналах настойчиво повторялось нечто, что я мог истолковать лишь как указание времени. Это, безусловно, были указания на радиоактивные процессы распада, причем указателями служили атомные номера и массовые числа. Когда я вычислил продолжительность этих процессов, то по нашему времениисчислению получилось около восьмидесяти лет. Затем неизменно следовали атомный номер и массовое число, выражающие взрыв атомной бомбы. Восемьдесят лет плюс двадцать шесть лет, потребных на то, чтобы дойти до нас со скоростью света (если мы примем, что они и в самом деле шли с одной из планет Вегги), — это давало период лет в сто, а сто лет тому назад на Земле еще не происходило никаких атомных взрывов.

Затем следовали числа, выражающие кремний, железо, кислород, азот, углерод и так далее... Нет, я не хочу углубляться в детали! Короче говоря, я принял за факт, что дело шло о планете или луне, на которой живут или, вернее, жили эти существа! Химический состав их планеты или луны, видимо, был очень схож с составом нашей Земли, с той лишь разницей, что количество углерода в тамошней атмосфере могло быть несколько большим, чем у нас. Соотношение тех или иных химических элементов можно было установить по числу сигналов, которое передавалось перед атомным номером и массовым числом соответствующих элементов или их соединений между собой. Например: два сигнала... продолжительная пауза... восемь — шестнадцать (обозначает кислород) и так далее.

Что же, однако, там произошло — сто лет тому назад?

Я перелистал, больше любопытства ради, старые астрономические журналы, извлеченные из подвалов института, где они покоились под толстым слоем пыли, и узнал, что в 1886 году некий шведский астроном, по фамилии Бергесон, в настоящее время совершенно забытый, якобы наблюдал через телескоп в созвездии Лиры таинственное световое явление, яркую вспышку,— так он сам утверждал по крайней мере. К несчастью, кроме него, никто этого не заметил. Было ли это так называемой вспышкой новой звезды или чем-то другим... Нет, это слишком смелое предположение — кончилось все тем, что я сам над собой посмеялся.

На основе объективных данных, извлеченных из анализа сигналов, я все больше и больше приходил к убеждению, что существа, посылавшие сигналы, некогда, в ходе какой-то войны, либо уничтожили свою планету страшными атомными взрывами, либо по меньшей мере сделали ее непригодной для жизни. Судя по составу изотопов, там все еще господствовала мощная радиоактивность. В развитии средств разрушения обитатели той планеты опередили нас самое меньшее на сто лет. По-видимому, на незначительном расстоянии от первой планеты находилось другое небесное тело. Это могла быть луна, вращавшаяся вокруг первой планеты, но в отличие от нашей Луны тоже пригодная для жизни. Луна, наверно, уступала по величине планете, которой сопутствовала, но ведь планета могла

быть и колоссальных размеров, с Юпитер или даже больше. Судьба обитателей той планеты оказалась счастливее, чем была бы наша в подобных обстоятельствах: они еще до начала атомной войны смогли эвакуировать часть населения на свою луну при помощи ракет или еще каких-нибудь средств межпланетного сообщения. Эвакуировали, наверное, женщин и детей, если у них вообще имелись женщины: ведь эти существа могли быть и двуполовыми, вроде некоторых разновидностей наших земных улиток. Во всяком случае, эвакуация была, так сказать, гуманным мероприятием, которому они обязаны дальнейшим существованием своего рода. Можно допустить и такой вариант: воевали между собой планета и луна, и из этой войны одна сторона благодаря внушительному перевесу в военной технике вышла абсолютной победительницей. Но как Крюгер, так и я, мы оба склонялись скорее к первой гипотезе, потому что на луне как будто ничего особенного не произошло. Если уж дошло там дело до такой страшной, беспощадной войны, то воюющие стороны должны были обладать примерно одинаковыми средствами истребления; в противном случае стороне-победительнице не стоило применять слишком сокрушительных средств. Если война велась ради захвата и порабощения, то применение таких средств было бы совершенно бессмысленным и никак не отвечало интересам завоевателей.

Ужасный опыт, приобретенный сто лет назад, привел, видимо, к тому, что уцелевшие зареклись на будущее затевать какие бы то ни было войны и посвятили свой, бесспорно,

очень высокий интеллект мирным и разумным целям. Этим и объясняется удивительно высокий уровень их техники. По-видимому, им уже давно удалось осуществить управляемую реакцию превращения водорода в гелий. Это открыло неслыханные источники энергии. У нас на Земле еще бьются над разрешением этой проблемы (пока аналогичная реакция практически достигнута только в водородной бомбе), и, несомненно, мои данные, полученные из анализа сигналов, представили бы огромный интерес для наших ученых-атомников. Сам я, к сожалению, не специалист в этих вопросах и мало что могу применить. Похоже, далее, что эти существа научились использовать энергию излучения своего солнца. Вероятно, они это делали с помощью гигантских солнечных батарей — иначе невозможно объяснить некоторые сигналы, напоминавшие кое-что из нашего земного опыта, в частности некоторые элементы и соединения, применяемые нами в соответствующих областях физики.

Мы с Крюгером целыми часами напролет отдавались безудержной игре фантазии: старались представить себе, как выглядит жизнь на родине этих неведомых существ. Крюгеру при этом рисовались цветущие сады, высокие белые здания в виде башен и прекрасные существа изысканной культуры и образованности, очень похожие на людей Земли. Я возражал, полагая, что мы, увы, склонны слишком легко переносить наши идеалы на всю Вселенную. Вполне вероятно, что те далекие существа похожи на пауков или насекомых и показались бы нам такими же отталкивающими, какими

мы, надо думать, показались бы им. Эволюционная теория, созданная Дарвином, вероятно, применима ко всей Вселенной, но что мы знаем об условиях жизни и возможностях ее развития на небесном теле, где обитали те существа? Быть может, они жили в местностях, напоминающих пустыни, под иссиня-черным, холодным небом. Быть может, их города представляли собой скопища огромных шарообразных сооружений без окон, с подземными соединительными ходами вроде термитных построек. А может, они хозяйничали по берегам кипящих морей, у подножия вулканов, среди буйной, обильной и красивой растительности. Длительность их дня могла быть и десять часов, и три месяца; нельзя быть уверенными, что день у них вообще отличается от ночи. Небесное тело, на котором они жили, могло быть всегда обращено к звезде, их солнцу, только одной стороной, подобно тому как Луна всегда обращена к Земле, а потому на одном полушарии мог постоянно царить невыносимый жар, а на другом — леденящий холод. Живые существа, возможно, обитали там в зоне вечных сумерек, то есть в поясе, отделявшем день от ночи.

Так или иначе, но одно было достоверно: благодаря высокому уровню развития техники эти существа сумели создать себе такие жизненные условия, которые надежно обеспечивали им безопасное существование. Конечно, всем этим домыслам так и суждено оставаться домыслами и фантазиями, до тех пор пока мы не разгадаем большего.

Как-то вечером, когда мы снова сидели на

чердаке и слушали, произошло нечто непредвиденное. Крюгер только что надел наушники — иногда мы сменяли друг друга на «дежурстве», — а я в ту минуту сидел рядом, задумавшись. Вдруг глаза Крюгера округлились и он прошептал:

— Вот! Послушайте!

Я поспешил надеть вторые наушники. Сигналы набегали один на другой, высота менялась, и это походило на какую-то мелодию. Громкость была не больше обычной, но звуки обрели небывалую до тех пор выразительность, походили на стрекот и жужжание тысячи насекомых. С нашей земной музыкой это не имело ничего общего, но все же в этих звуках была какая-то своя красота и в то же время нечто торжественно-грозное, так что мы, слушая, затаили дыхание. Через три минуты все кончилось. Не возобновились и обычные сигналы... Ничего, кроме великой тишины, лишь временами нарушаемой шумами помех. Будто в космосе захлопнулись огромные черные ворота.

— Что это было? — прошептал Крюгер, после того как мы, подавленные услышанным, некоторое время просидели в молчании.

— Наверное, помехи, вызванные волнами другой длины. Так называемая музыка сфер. Надо проверить аппаратуру, — попытался я найти объяснение.

Но Крюгер отрицательно покачал головой.

— Нет, — возразил он с выражением уверенности и воодушевления на лице, — нет, это их гимн!

Переубедить его было невозможно.

Я выключил приемник,— давно уже миновала полночь. Крюгер, в полном молчании, долго смотрел вверх, на сияющие звезды. Потом заговорил и развил целую теорию о жизни неизвестных существ, о их общественном строе и государственной системе.

— Знаете ли, господин профессор (он окончательно закрепил за мной это звание), мой старик уверен, что у них должна царить великая справедливость, хотя бы потому, что войны они больше не хотят. Нечто вроде социализма! — Крюгер склонился ко мне ближе.— У старика-то моего, видите ли, убеждения довольно левые... А сейчас, после их гимна, я и сам начинаю верить, что мой отец прав.

Я осуждающе покачал головой: «Ах, Крюгер! Вы, значит, и отцу все рассказали?»

Крюгер в смущении отвернулся и стал возиться с аппаратурой. Мое же мнение насчет высказанного Крюгером...

Доктор Бендер!

6

Вчера разразился грандиозный скандал: у меня отобрали мою рукопись. Отчасти по моей собственной вине, потому что предоставленные мне льготы сделали меня слишком дерзким и самоуверенным. Вместо того чтобы прекратить работу под утро, я спокойно продолжал писать и слишком поздно заметил идущего по коридору доктора Бендера. Из каких соображений ему вздумалось нанести мне ви-

зит еще до завтрака, не знаю. Во всяком случае, дверь в палату распахнулась в момент, когда я еще отчаянно пытался спрятать рукопись в постели. Один из листков при этом выпал и порхнул на пол.

В палате зажегся свет. «Доброе утро!» — приветствовал я врача как можно более невинно.

Однако доктор Бендер успел заметить листок: ничто не ускользает от его внимания. Он поднял листок и некоторое время рассматривал его, нахмутив лоб, а сестра, его обязательная спутница, застыла в дверях как изваяние.

— Смею ли спросить, господин доктор Вульф, что это значит? — проговорил он наконец, сделав строгое лицо, и показал мне печатный штамп сверху листка — «Университетская психиатрическая клиника».

— Ах, это сущие пустяки; я просто старался скоротать время, — ответил я и попытался обезоружить врача улыбкой.

— У вас есть еще такие листки? — продолжал он допрос.

Отпираться не имело никакого смысла, и я вытащил все остальные страницы из-под одеяла, чтобы избавить и его, и себя от неприятной процедуры обыска. «Вот, пожалуйста», — сказал я, протягивая ему листки.

Он просмотрел все и затем изрек в тоне председателя суда:

— Вы, конечно, отдаете себе отчет, господин доктор Вульф, что бумага эта составляет казенную собственность. Поскольку ваше состояние до какой-то степени снимает с вас

ответственность, я не хочу ставить в известность о вашем поступке органы власти, но терпеть подобные вещи дальше я не намерен.

Он торжественно водрузил мою рукопись на поднос сестры и уже собирался уходить. Но тут мною овладел приступ ярости: еще одна конфискация — нет, это слишком!

— Требую, чтобы вы передали мою рукопись профессору! Пусть он решает, получить ли мне ее назад! — Я начал кричать: — Я просил у вас бумаги, но вы мне в ней отказали! Протестую!

— Успокойтесь. Сестра сейчас принесет вам пилюлю,— холодно ответил доктор Бендер. По легкому подергиванию его лица я понял, что он не вполне уверен в правильности своих действий. У меня осталась некоторая надежда.

И надежда меня не обманула. Под вечер в палату пришел профессор с моей рукописью в руках. Педантичное чиновничье усердие доктора Бендера на этот раз пошло мне на пользу: он и в самом деле передал рукопись своему шефу.

— Вам нравится делать сюрпризы, мой дорогой доктор Вульф,— обратился ко мне профессор полушутя, полусердито.— Славный устроили вы спектакль! Но попрошу вас впредь пользоваться собственной бумагой. Я распорядился, чтобы вам дали возможность купить ее за ваш счет.

— Сколько стоит этот блокнот? Я заплачу за него, чтобы у доктора Бендера не было никаких неприятностей со стороны органов власти! Внизу, у швейцара, хранится мой бумажник, в нем еще девятнадцать марок семь-

десять пфеннигов,—сделал я великодушный жест.

— Ну, хорошо, пусть будет так,—отмахнулся профессор,—похоже, что вы не очень-то жалуете доктора Бендера. А между тем вы к нему несправедливы. Доктор Бендер — очень исполнительный и добросовестный врач.

Истолковав мое молчание как несогласие с таким мнением, профессор бросил короткий взгляд в сторону двери и продолжал немного тише:

— Право же, вы к нему несправедливы. Его недостатком является только... ну, как бы это выразить?.. Видите ли, уже много лет он живет здесь, при больнице, отшельником: у него нет семьи, нет друзей. Как бы он выдержал такую жизнь, если бы не верил слепо в огромную важность своего дела? Внешний мир за пределами больницы виден ему будто сквозь узкое окно. По его мнению, это очень хорошо устроенный, очень справедливый мир.

— А по вашему мнению? — вставил я вопрос.

Но профессор сделал вид, что не слышит, и продолжал:

— Вы поставили доктора Бендера перед самой трудной задачей. Он же не в состоянии себе представить, что вас могли поместить сюда без достаточных к тому оснований. И если ему не удастся найти для вас удовлетворительный с медицинской точки зрения диагноз, то объяснить это он может лишь своей собственной медицинской некомпетентностью, а это для него — самое мучительное. Тут мы с ним сильно отличаемся друг от друга; но я рабо-

таю врачом очень много лет, меня неудача подобного рода уже не огорчила бы. Я иногда пытался намекать доктору Бендеру, что во внешнем мире, за стенами больницы, может быть, и не все в таком идеальном порядке, как ему кажется... Но любую мою осторожную попытку в этом направлении он воспринимает с таким изумлением, даже ужасом, что я в интересах собственного положения сразу отказался от дальнейших попыток такого рода... ибо доктор Бендер вполне способен... действуя от чистого сердца и с полной уверенностью, что поступает честно... Впрочем, оставим эту тему, она, собственно, к делу не относится. По своей натуре он, в сущности, хороший малый, и ничего бы ему так не хотелось, как снискать уважение и любовь своих пациентов. В том, что это так плохо удается, заключается его великая трагедия. В своей рукописи вы изобразили его мастерски. К счастью, он не успел прочесть ее целиком, потому что по своей добросовестности немедленно принес ко мне в кабинет, хотя ему, конечно, ужасно хотелось добыть из ваших излияний на этих страницах какие-нибудь данные для диагноза. Итак, впредь — только на своей собственной бумаге, смею вас просить!

Профессор положил рукопись ко мне на кровать. Уходя, он еще задержался в дверях.

— Бóльшую часть я прочел. Прошу вас, вычеркните хотя бы название города, прежде чем давать кому-нибудь вашу рукопись для чтения или тем более для печати. Грюнбах почти никому не известен, но город X. знают все. С вашей стороны было очень любезно

не увековечить моей фамилии, но все равно всякий сразу догадается, о ком речь... Уж прошу покорно, это мне отнюдь не улыбается!

Он шутливо пригрозил мне, затем его халат исчез за дверь. За то, что он так великодушно возвратил мне рукопись, я выполняю его желание и задним числом везде вычеркиваю на этих страницах название города. Меняю и некоторые фамилии. Моя история не станет от этого менее правдивой.

Итак, сегодня вечером я пишу при свете лампы шариковой ручкой на линованом блокноте, доставленном сестрой. Хотя доктор Бендер едва ли может отнестись к этому с одобрением, я убежден, что он не решится мне мешать. И вот я пишу спокойно и с комфортом. Все эти благоприятные обстоятельства, несомненно, благотворно скажутся на моих записках, на их удобочитаемости.

И еще одно преимущество: теперь у меня есть время, чтобы спокойно подумать об изложении всего дальнейшего, ибо то, о чем я писал до сих пор, поддавалось обрисовке сравнительно легко. Конечно, там есть и очень волнующие моменты, но пока доминирует описание радостей; до сих пор я писал о счастливом периоде жизни. Лишь позднее стали появляться тени, все неумолимее сгущался мрак, пока не наступил конец — здесь, в этом доме.

После того вечера, когда странные звуки из космоса показались Крюгеру гимном неведомых существ, два вечера подряд сигналов совсем не было слышно. Мы перепроверили аппаратуру, меняли направление антенны, меняли настройку — ничего не помогало. На третий

вечер, около одиннадцати часов, сигналы неожиданно появились вновь, но теперь они шли из направления, несколько отклонявшегося от зафиксированного раньше. Не свидетельствовало ли это в пользу гипотезы о ракетах?

Удивительнее всего было, что теперь сигналы звучали совсем по-другому. От ясных, легко поддающихся расшифровке знаков — атомных номеров и массовых чисел — не осталось и следа. Теперь все шло в бешено быстром темпе, нарастало и убывало, как прилив и отлив; слух — не говоря уже о карандаше — был не в силах улавливать эту передачу. Жужжание длилось без перерыва иногда полчаса, иногда час, и мы не могли составить себе ни малейшего представления, что́ это должно было означать. Может быть, далекие существа хотели сообщить о себе и о своей звезде что-то новое? Но ведь мы даже не знали, обладают ли они языком в нашем понимании. Быть может, они общались друг с другом посредством знаков, математических формул или каких-нибудь схожих способов? В общем-то их сигналы скорее свидетельствовали о попытках стать понятными, установить некие связи, и они применяли для этой цели различные системы сигнализации в надежде, что ту или иную мы поймем.

В быстроте, с которой шли сигналы, чувствовалось что-то отчаянное, но возможно, это только казалось. Некоторое время мы по-всякому пробовали толковать сигналы, но вскоре благоразумно отказались от таких попыток; элементарный научный анализ убедил нас, что при наших технических средствах ничего добиться нельзя. Для записи сигналов требова-

лись осциллографы и магнитофоны; для расшифровки — электронный счетный мозг и многое другое. Уже то, чего мы добились с нашей сравнительно примитивной аппаратурой, походило на чудо. Вначале нам, к примеру, доставляло много хлопот наведение антенны. Автоматический часовой механизм, который точно выполнял бы эту функцию, был, разумеется, мне не по карману. Как-то раз Крюгер явился с синхронным мотором, который якобы с давних пор лежал у него дома. Я не хотел портить ему удовольствие, но в душе был глубоко убежден, что этот синхронный мотор он на свои скудные средства купил у старьевщика. При помощи шкивов и шестеренок мы подключили легко вращающуюся подставку к мотору, но, к несчастью, наш Грюнбах обслуживала слишком маломощная электростанция. Нагрузка сети все время менялась, и в зависимости от нее сильно колебалось напряжение тока, а вместе с ним и число оборотов нашего мотора. Отклонения приходилось время от времени регулировать вручную. Хотя мотор кое-как и функционировал, большой радости он нам не доставил. Словом, мы ощущали недостаток во всем, но даже и целого состояния господина Нидермейера не хватило бы, чтобы полностью обеспечить нам дальнейшую планомерную работу.

Крюгер приставал ко мне с каждым днем все настойчивее, убеждая обратиться наконец к общественности, к научным организациям, к правительству. Однако я медлил. Не знаю, приписывал ли Крюгер мою нерешительность слишком большой скромности ученого или

чему-нибудь еще, но только в своем юношеском нетерпении он почти выходил из себя. Целыми часами он, так сказать, по-отечески меня уговаривал, постепенно раздражался и, исчерпав все доводы, просил разрешить ему сделать это за меня, раз я сам не хочу или не могу. Я обнадеживал его, но все откладывал и откладывал. Отчасти и в самом деле из-за какой-то непонятной робости, отчасти потому, что хотел привести окончательные результаты, открытия в образцовый порядок. Мне мерещилась рукопись страниц на пятьсот, снабженная чертежами и диаграммами, переплетенная в свиновую кожу... профессорская диссертация *par excellence* *.

В ознаменование временного завершения работ и в честь достигнутых нами успехов я решил устроить небольшое пиршество на месте, где было сделано открытие, то есть на моем чердаке. Кроме Крюгера, мне хотелось пригласить и Янека. Насчет последнего я сначала чуть-чуть поколебался, но затем счел, что и Янек имеет право принять участие в празднике: ведь это он так успешно соорудил мне прекрасную антенну. Крюгер сразу одобрил мой план пригласить Янека, сказал, что это само собой разумеется. Вино у меня еще было, потому что вот уже две недели я откладывал очередное приглашение Нидермейеров, ссылаясь на срочную работу. Для ученого, страстно увлеченного грандиозными мировыми проблемами, болтовня о кафельных ваннах и персид-

* По преимуществу, в особенности (франц.). Здесь — в полном смысле слова. — *Прим. ред.*

ских экс-шахинях была бы просто-напросто невыносима. Наш праздник на чердаке я назначил на 16 ноября — канун моего дня рождения (о чем, впрочем, моим друзьям я не сообщил). В ожидании этого дня мы с Крюгером предавались мечтам и фантазиям о будущем.

Конечно, с помощью сложных угломерных вычислений и иных методов необходимо точно установить местонахождение в космосе источника, откуда шли сигналы, определить расстояние до этого источника и попытаться выяснить его движение относительно Земли. Для этого нужны дополнительные научные станции. Нам с Крюгером рисовалась на всех материках Земли мощная сеть гигантских антенн. Они должны иметь по меньшей мере от пятидесяти до семидесяти метров в диаметре, что необычайно улучшило бы качество приема.словно гигантские уши, они должны вслушиваться в космос. В наших мечтах мы уже видели около этих аппаратов высококвалифицированных научных работников. Их дело — регистрировать сигналы, расшифровывать их с помощью электронно-вычислительных машин. Какая вдохновенная исследовательская работа — в процессе ее были бы получены потрясающие данные о тех далеких, еще совершенно неведомых нам существах. Крюгер особенно настаивал на том, чтобы дать с Земли ответ посредством гигантского передатчика. Начать надо будет с передачи сигналов, тоже обозначающих атомные номера и массовые числа, — ведь благодаря этим числам мы сами впервые поняли таинственные сигналы. Их сигналы были посланы очень давно, и минуло много лет,

прежде чем они дошли до нас; еще много времени протечет, прежде чем таинственные корреспонденты примут наш ответ, которого, должно быть, давно с нетерпением ждут. Поэтому абсолютно необходимо как можно скорее успокоить их относительно нас и наших дальнейших намерений; сообщить им, что у нас на Земле постепенно побеждает разум; что мы, как и они, хорошо знаем, что атомная война равносильна нашему полному самоуничтожению.

Какие неожиданные возможности открылись бы для сотрудничества с ними, для взаимного обмена научным опытом и техническими достижениями! Что, если бы, например, эти существа и мы вместе разработали и привели в исполнение проект исследования и завоевания космоса? Пусть из-за дальности расстояния это затянется на десятилетия, но что значат десятилетия для истории Вселенной?

В общем, повторяю, наши с Крюгером мечты нередко были утопичны.

Что касается первых практических мероприятий, связанных с осуществлением наших смелых проектов, мы рассчитывали получить поддержку английских и американских ученых. Именно в Англии с некоторых пор делаются серьезные, хотя пока что безрезультатные попытки связаться с другими обитаемыми мирами; там, в Англии, уже создана специальная аппаратура для этих целей; ее переоборудование не представило бы значительных трудностей. Однако самые большие надежды Крюгер (а в глубине души и я) возлагал на Советский Союз. Гигантская страна с ее необозри-

мыми, еще далеко не использованными возможностями уже опередила все страны мира в деле исследования и завоевания космоса. Научные институты, обсерватории, наблюдательные станции, многочисленные, растущие с каждым днем кадры высококвалифицированных и вдохновенных молодых специалистов — все это могло бы поставить нашу мечту на практические рельсы. Подобный размах науки можно встретить только в Советском Союзе, нигде больше. Может быть, в какую-нибудь из советских ракет удалось бы вмонтировать и один из моих приемников? Вместительность советских космических кораблей, пределы их полезной нагрузки (которая, к слову сказать, у американцев много ниже) позволили бы это вполне. И нигде ученые не проявляют столько интереса к проблеме жизни на других планетах, как в Советском Союзе.

Да! Все это были красивые мечты, увлекательные картины, и именно 16 ноября их омрачила первая зловещая тень.

Для предстоящего праздника я постарался приукрасить чердак возможно лучше. В углу, свободном от аппаратуры, перед старым диваном мы поставили маленький столик, покрытый белой скатертью. На ветхое дедовское кресло набросили старое одеяло, чтобы набивка не выпирала наружу. На большом блюде лежали заранее приготовленные бутерброды с колбасой и ветчиной, в ведре с водой охладжались три бутылки мозельского, которые я в некотором смысле украл у Нидермейера. Все это выглядело, как маленький благодатный островок в желтом круге света от

старого торшера, а затянутые паутиной стропильные балки терялись в густом сумраке. По-моему, получилось довольно уютно.

Сбор гостей был назначен на восемь часов. Крюгер явился за десять минут до срока: аккуратность составляла одно из его хороших качеств. На нем был темный костюм с чуть короткими рукавами, ослепительно-белая рубашка и серо-перламутровый галстук, наверное подарок его подруги. В этом же праздничном одеянии он обыкновенно являлся и на экзамены. Волосы были тщательно причесаны, и, прежде чем переступить порог, он украдкой посмотрелся в карманное зеркальце.

— У вас сегодня великолепный вид, Крюгер! — приветствовал я его шутливо из глубины чердака.

Он смущенно улыбнулся и осторожно сел на диван, предварительно подтянув брюки. От него веяло такой огромной, почти умиляющей торжественностью, словно сегодня и впрямь был исключительный день. Мы немного с ним побеседовали, дожидаясь Янека.

У меня вообще не было уверенности, что Янек придет. Когда я ходил в его заброшенную кузницу, чтобы пригласить к себе, он был в настроении еще худшем, чем в прошлый раз.

— Что вы от меня хотите, доктор? — спросил он и метнул в мою сторону такой взгляд, будто я был вестником беды.

— Я хочу всего лишь пригласить вас на стакан вина, Янек. На чердак, где вы мне тогда установили антенну. Послезавтра вечером, если это вас устроит.

Он казался чрезвычайно удивленным; видно, таких вещей с ним еще не случилось. На его угрюмом оливковом лице я прочел явное недоверие.

— Почему? — пожелал он узнать.

— Да потому, что вы мне очень помогли, Янек,— ободряюще улыбнулся я в ответ.

— Хорошо, я приходите,— согласился он наконец с таким выражением лица, точно его вызывали на судебное разбирательство. Я почти пожалел, что позвал его.

В половине девятого мы услышали на лестнице его шаги. Замедленный, как бы крадущийся шаг настороженного человека, находящегося в опасности. Странное, гнетущее чувство брало за душу при звуке этих шагов, и я невольно затаил дыхание. Я заметил, что нечто подобное почувствовал и Крюгер, потому что он оборвал фразу на полуслове и внимательно прислушался. Наконец из полумрака чердака вынырнул Янек.

— Доброй вечер! — буркнул он и смерил испытующим взглядом Крюгера, которого видел впервые.

Янек был одет, как обычно: заплатанные штаны и слишком легкий для того времени года, почти просвечивающий насквозь пиджачок. Спасаясь от холода, он обмотал шею старым шерстяным шарфом. Оливковое лицо его имело сегодня какой-то желтоватый оттенок.

— Садитесь, пожалуйста, господин Янек! Вот сюда, на диван, или, если угодно, в кресло. Мы сейчас приступим! — весело воскликнул я, стараясь его приободрить и не дать почувствовать стеснения.

Поколебавшись, Янек уселся на диване рядом с Крюгером. Он еще раз бросил на молодого человека испытующий взгляд исподлобья. Крюгер в свою очередь посмотрел на Янека и ненароком прикрыл рукой галстук, словно ему стало неловко за свое франтовство (на самом деле очень умеренное!) в присутствии человека, одетого столь убого. Затем губы его сложились в застенчивую, обезоруживающую своей юношеской непосредственностью улыбку.

— С чем вы больше любите бутерброды, господин Янек, с колбасой или с ветчиной? Я-то обычно ем с колбасой, она дешевле, а сегодня хорошо пойдут эти, с ветчиной. Прошу вас, берите их, пожалуйста, с той стороны...

Янек посмотрел на Крюгера и вдруг улыбнулся:

— Спасибо. Я тоже любить есть ветчину.

Видимо, между ним и Крюгером с первого взгляда возникла взаимная симпатия.

Янек съел три бутерброда, будто не от голода, а из простой вежливости. Но по выражению его глаз, по тому, как он кусал своими крепкими зубами, я заключил, что ему зверски хочется этого лакомства. Кто знает, когда в последний раз ему удалось заработать и поесть досыта. Потом он замер, слегка наклонив туловище вперед, зажав кисти рук между коленями. Глубокие борозды на его смуглом лице казались высеченными резцом. Черные глаза украдкой недоверчиво оглядывали чердак, аппаратуру... Станный и немного жуткий человек. Он напоминал затаившегося зверя, который может стать опасным, если его раздражить.

— Видите, господин Янек, там стоит ваша антенна. Она оказала нам неоценимые услуги. Мы очень вам признательны за хорошую работу, — с этими словами я налил ему вина.

— В таком случае — за дальнейший успех! Пейте, господин Янек! Ваше здоровье! — воскликнул Крюгер и поднял стакан. Положительно Янек нравился ему все больше и больше.

— Ваше здоровье, молодой человек! — откликнулся Янек, и на его лице опять проступила легкая улыбка. Затем он откинул голову назад, под кожей худой шеи резко обозначилось адамово яблоко, и вино полилось ему в горло. Было что-то величественное в его манере пить. Вне всякого сомнения, этот человек понимал толк в хорошем вине.

Крюгер спросил, как ему понравилось вино, и Янек ответил, что оно слишком терпкое. У него на родине вина мягче на вкус.

— Смею спросить, где ваша родина? — поинтересовался Крюгер.

Янек уставился в одну точку и замолчал, словно вопрос опять пробудил в нем недоверчивость. А потом начал медленно, будто прислушиваясь к чьему-то далекому голосу, рассказывать о Триесте, о голубой Адриатике, о горе Опичине: «...Говорят, что вид с ее вершины — восьмое чудо света. В тех местах моя родина. Солнце там жаркое, такое жаркое...» Он замолк и махнул рукой, будто рассказывал о давно забытом сне.

Я бы не стал спрашивать его дальше, но Крюгер уже предлагал Янеку новый тост: «За вашу родину, господин Янек!»

— У меня нет больше родины,— ответил Янек жестко.

После второй бутылки Крюгер стал еще непосредственнее. Внезапно он сорвал с себя свой красивый серо-перламутровый галстук, расстегнул пиджак и верхнюю пуговицу рубашки. «Здесь чертовски жарко!» — пояснил он, хотя в эту пору года о жаре не могло быть и речи. Наверное, он решил освободиться от галстука только для того, чтобы сгладить разницу между своим обликом и убогой одеждой Янека. Было заметно, что его уже давно занимала какая-то мысль, и после очередного глотка вина он не сдержался и высказал, что было у него на уме.

— Не считаете ли вы, господин профессор,— воскликнул он, показывая на аппаратуру,— что нам следовало бы кое-что об этом рассказать и господину Янеку? Господина Янека явно интересуют наши аппараты, и, кроме того, он, наверное, удивляется, по какому поводу мы его пригласили и... Нет, нет! Ему нужно рассказать обязательно!

Припертый таким образом к стене, я уже не мог сказать «нет», не обидев Янека. «Ну, хорошо, чтобы доставить вам удовольствие, Крюгер...» Я согласился крайне неохотно.

Окрыленный вином и собственным воодушевлением, Крюгер тотчас же склонился к Янеку и начал в общих чертах рассказывать ему о нашем открытии. Глаза его сверкали, он размахивал руками, в общем находился вполне в своей стихии. Он говорил о таинственных звездных существах, о их высокой мудрости и при этом снова впадал в ошибку, от которой

никак не мог отделаться: рассуждал об этих существах так, как если бы ему уже совершенно точно было известно, что они похожи на людей, что у них идеальный государственный строй, что они после страшных испытаний атомной войны поставили себе высшей целью достижение вечного мира и социальной справедливости. Затем он принялся рисовать ослепительно прекрасные картины будущего; высказал надежду, что и у нас на Земле по примеру идеальных звездных существ историческое развитие пойдет к такой же благородной цели... Очевидно, Крюгер плохо переносил алкоголь: уж очень приподнятое настроение было у него сейчас, и его юношеский пыл не знал удержу!

Янек слушал молча, ни один мускул на его лице не дрогнул. На него вино не оказало ни малейшего действия.

Когда Крюгер заключил торжествующим вопросом: «Что вы на все это скажете, господин Янек?», Янек покачал головой и рот его искривила злая ухмылка — совсем как волк, оскаливший зубы.

— Я — не верить, — проговорил он резко, — все это только сказки для детей.

От звука его голоса у меня по спине пробежал холодок. Крюгер застыл на месте с разинутым ртом.

— Но... господин Янек...

— Я кое-что другое знать про людей! — перебил его Янек, на этот раз почти с гневом. — Мне нечего рассказывать!

Его лицо в ту минуту сделалось настолько злым, что можно было испугаться. Он бросал

на меня и на Крюгера мрачные взгляды, по-видимому, решал, стоит ли продолжать с нами этот разговор, а затем, как бы решившись, заговорил, весь кипя яростью:

— Хорошо! Я вам рассказать. Никому другому не говорил. Но вы меня пригласить, винном угощать, чтобы поверить в сказки. Нет! Я вам сказать теперь правду!..

К нашему великому замешательству, им овладело что-то похожее на приступ бешенства. Он сорвал с себя свой расплзающийся по швам пиджак и спустил с плеча рубашку. Темная кожа на плече и спине была обезображена глубокими рубцами и темными полосами.

— Вот! Вы смотреть! Вот правда! Война и смерть, и человек как лютый зверь! Вот правда! — выкрикивал он в иступлении.

И Янек на ломаном немецком языке рассказал нам свою историю, вернее, швырнул нам ее в лицо, скрежеща зубами.

Он только поступил в технический институт, как разразилась война. В окрестностях Белграда — он особо подчеркнул нам свою сербскую, а не итальянскую национальность — его вместе с многими другими схватили немцы, погрузили, как скот, в товарный вагон и отправили в Германию — на принудительные работы. Некоторое время он работал на фабрике под Берлином. Вскоре его заподозрили в том, что он причастен к подпольному движению или группе Сопротивления. Я почти уверен, что подозрение было неосновательно. Но кто в те времена стал бы доискиваться справедливости, если речь шла о представителе «неполноценной» расы, занятом на принудительных рабо-

тах? Он угодил в концентрационный лагерь. Чудовищный ужас, с которым он там столкнулся лицом к лицу... истязания, пытки, казни... впрочем, это уже хорошо известно! Правда, его могучее тело все вынесло, но в душе что-то надломилось. Он больше никого и ничего не любил, ни во что не верил, ни на что не надеялся. Безрадостное прозябание — вот единственное, что ему осталось в жизни. По окончании войны он имел возможность по желанию принять на выбор югославское или итальянское подданство и возвратиться на родину, но вовремя об этом не позаботился, пропустил все сроки — ему уже все стало безразлично. Как человек без подданства, скитался он по разным местам; его гнали, и он без определенной цели отправлялся дальше, пока не нашел временного прибежища в Грюмбахе — в развалинах старой кузницы.

— Вот — правда! — заключил он с жестом презрения и выпил вина.

Мы, смущенные, молчали. У Крюгера было такое выражение лица, будто он вот-вот заплачет. Мне же вдруг показалось, что на чердаке стало темнее, что за покрытыми паутиной балками притаились враждебные тени. Антенна и аппараты, посредством которых мы получили послание со звезд, — на прежних местах, но Янек снова вернул нас из звездных высей к Земле с ее мраком, с ее ужасами. Контраст получился настолько жестокий, что спазма сжала мне горло и меня охватило предчувствие неминуемой беды, предчувствие, волей случая оправдавшееся еще в тот же вечер.

— Но, господин Янек... Поверьте нам, что

лично мы оба...— нашел я наконец силы говорить.

Янек оглядел меня прищуренными глазами.

— Ваш друг тоже из таких. Я хорошо знать этих людей,— сказал он насмешливо.

— Какой еще друг? — спросил я, ничего не понимая.

— Ваш друг из аптеки,— пояснил Янек.— Он все время ходить вокруг. И сегодня вечером я его видеть, как он ходить за домом...

Обдумывая все это теперь, в спокойном состоянии, я прихожу к выводу, что провизор Киндель и в самом деле мог быть в прошлом одним из шпииков или палачей-истязателей и ныне скрывался в Грюнбахе от заслуженной кары. Но едва ли он когда-нибудь принадлежал к прежней «идейной аристократии», потому что в этом случае при помощи своих единомышленников он сумел бы занять куда более высокий и выгодный пост, чем должность простого аптекаря-провизора, живущего надеждами на скорую смерть своего шефа.

В тот момент я настолько был поражен падением Янека, что не сумел ничего возразить и не стал даже объяснять своему собеседнику, что причислять провизора Кинделя к моим друзьям было, мягко выражаясь, преувеличением.

Чтобы сгладить тягостное и мучительное впечатление от сцены с Янеком, я опять налил всем вина и объявил, что в завершение вечера угощу моих гостей превосходным кофе. Крюгер поддержал меня в попытках развеселить Янека и в нарочито веселом тоне предложил ему сигарету:

— Восточный табак, какой курят у вас на родине!

Янек взял сигарету и закурил, глубоко затягиваясь, видимо чтобы немного успокоиться. Он снова стал молчаливым и непроницаемым. Временами его губы складывались в странную, многозначительную улыбку, но она тут же исчезала, и он держал себя так, будто ничего и не было, будто он за весь вечер не сказал ничего особенного. Я все более убеждался, что Крюгер ему гораздо симпатичнее, чем я, и что он больше доверяет ему, чем мне. Под конец он оттаял до такой степени, что вступил с Крюгером в шутовское обсуждение достоинств южных девушек. Настроение как будто выровнялось, и вечер заканчивался в приятной атмосфере.

Было уже за полночь. Я только что включил электрический кофейник, чтобы приготовить обещанный кофе, как вдруг мы услышали шаги на лестнице.

— Что это? — спросил Крюгер дрогнувшим голосом.

Я прислушался. На лице Янека появилось выражение настороженного внимания.

Сегодня, когда я об этом вспоминаю, мне кажется, что едва я услышал звук шагов и скрип ступенек, как тотчас же догадался: вот оно — несчастье. Шаги совсем не походили на осторожную поступь Янека, когда он поднимался к нам в начале вечера. Это были легкие, торопливые шаги человека, который либо убегает от опасности, либо отчаянно спешит. Наконец дверь распахнулась, и на пороге оказалась моя жена.

Обычно она избегала появляться в той части чердака, где я устроил себе лабораторию. Она очень осуждала мои ночные бодрствования, беспокоилась за мое здоровье, но выражала свое недовольство лишь изредка, в виде коротких увещеваний. К моему ассистенту Крюгеру она относилась снисходительно, но в глубине души, конечно, его недолюбливала. Хотя бы за то, что Крюгер, как она могла предположить, помогал мне при этих ненужных, с ее точки зрения, экспериментах. Еще меньше симпатии она питала к Янеку, но можно ли было ставить ей это в вину, учитывая характер и образ жизни этого человека.

Жена прибежала в страшном волнении. Даже в полумраке чердака было видно, что она смертельно бледна. Одной рукой она замахивала на груди халат, брошенный в спешке, в другой держала газету. В расширенных глазах был панический ужас.

— Случилось нечто страшное, — проговорила она срывающимся голосом и протянула мне газету. — Вот, прочти! — Крюгера и Янека она будто и не заметила.

Я в недоумении взял газету. Это был номер «Майницкого Меркурия» — провинциального листка, известного своими клерикальными и крайне реакционными тенденциями и стоявшего близко к определенным правительственным кругам.

На первой странице можно было прочесть о задачах по укреплению национальной обороны — обычные напыщенные фразы, уже до смерти всем надоевшие. Я не понимал, с какой стороны это могло касаться меня.

— Мы ведь не выписываем и не покупаем эту газету; откуда же она взялась? — спросил я в удивлении.

— Четверть часа тому назад — я уже хотела ложиться — ее подсунули под нашу входную дверь. Я хотела посмотреть, кто это сделал, но слышала только удаляющиеся шаги. В темноте я не разглядела, кто это был. Прочти! На второй странице, отчеркнуто красным. Боже мой, что же теперь будет!..

— Иди ложись, а то простудишься. Ты ведь вся дрожишь. Я скоро приду, — сказал я возможно спокойнее.

— Спать?! Нет, уж теперь мне не заснуть. Это ужасно! — прошептала жена и, будто только сейчас заметив обоих посторонних мужчин, плотнее запахнула на себе халат и побежала вниз по лестнице.

Я подошел ближе к лампе и развернул вторую страницу. Неизвестный «доброжелатель» обвел нужную статью красным карандашом и против некоторых абзацев поставил еще на полях восклицательные знаки. Нахмурившись, я начал читать.

«СЛИШКОМ ПЛОХО ЗАМАСКИРОВАНО»

На страницах нашей газеты мы уже неоднократно указывали, что давно пора решительно положить конец преступной деятельности более или менее искусно законспирированных врагов нашего государства, ставящих себе целью подрыв государственного строя. В качестве иллюстрации к этому нашему требованию может служить новый пример пре-

ступной деятельности, не имеющий себе равных по карикатурной наглости. Некий доктор В., проживающий в местечке Грюнбах недалеко от города Х., утверждает, что ему якобы удалось вступить в контакт с таинственными разумными существами, обитающими на других планетах. Для каждого верующего христианина это утверждение на первый взгляд может показаться только кощунственным или безумным, и, однако же, за ним кроется нечто гораздо более серьезное. Господин доктор В. утверждает, далее, будто его «звездные люди» высказываются против атомного вооружения, за всеобщий мир и согласие! Услышав такие песенки, и самый ограниченный человек не станет более сомневаться, откуда дует ветер. Господин доктор В. может сколько ему угодно разглагольствовать о своем мнимом открытии, об «ушах, вслушивающихся в космос», о частотах и о прочем,— нас, однако, ему своей псевдонаучной болтовней не провести. Людей, с которыми он установил контакт, надо искать вовсе не на звездах, а по соседству с нами, на восточном полушарии земного шара. Против атомного вооружения... вечный мир... взаимопонимание... Все это более чем ясно указывает, где пребывают заказчики господина доктора В. Как нам стало известно дальше, этот господин подвизается и в качестве воспитателя юношества. Нашему корреспонденту

пришлось, к несчастью, убедиться, насколько глубоко подрывные идеи доктора В. уже успели внедриться в души доверенной ему молодежи. В общем деятельность господина доктора В. придется квалифицировать как одну из самых наглых попыток, какие только имели место, подорвать в нашем юношестве волю к сопротивлению и создать у него превратные представления о целях нашей самообороны. Мы преследуем эти цели не только в интересах собственного народа, но и в интересах наших союзников по НАТО, с которыми нас связывают торжественные обязательства; а если взглянуть шире, то и в интересах сохранения самых священных ценностей христианской Европы. Приведенный нами плачевный пример еще раз доказывает со всей очевидностью, насколько нам еще не хватает бдительности и под какой постоянной угрозой находится наша свобода и наш государственный строй вопреки всем разговорам о взаимопонимании и согласии!..»

Вся статья была в таком духе. Когда я опустил газету, у меня было чувство человека, которому снится тяжелый сон.

Пока я читал, Крюгер напряженно следил за выражением моего лица; Янек остался совершенно безучастным, будто его ничто и никак не касалось.

— Теперь прочитайте вы!— и, тяжело дыша, я протянул Крюгеру газету.

В угрюмом молчании я смотрел теперь на лицо Крюгера. Сначала он побледнел, потом его лицо до самого лба густо покраснело, ноздри задрожали, и он снова побледнел.

Наконец он с отвращением бросил газету на стол и беспомощно огляделся. «Ах, мерзкая гнида!— выговорил он едва слышно, и пальцы его руки сделали произвольное движение, словно он хочет что-то раздавить.— Подлый негодяй!»

При виде его смятения меня внезапно озарила догадка.

— Вы, может быть, знаете, откуда дует этот ветер?— резко спросил я, задрожав от гнева и смутного страха.

Крюгер поник головой.

— Да, кажется, знаю...— пробормотал он, избегая моего взгляда.

— Так выкладывайте!— крикнул я.

И Крюгер начал рассказывать. Сначала он запинаясь, делал над собой усилие, но постепенно говорил все быстрее, с нарастающей яростью. Как-то вечером на прошлой неделе, когда мы с ним закончили работу раньше обычного, он зашел в грюнбахский погребок поужинать. Заведение было почти пусто, сидели три или четыре посетителя. По описанию Крюгера, один из них мог быть провизором Кинделем. Сидел он с каким-то другим господином в углу; они разговаривали вполголоса. Вскоре тот, кто мог быть провизором Кинделем, совсем ушел. Оставшийся же подошел к столику Крюгера и попросил позволения присесть,— мол, скучно одному.

— Это был плюгавый субъект, низенького

роста, с обрюзгшим лицом, очки в золотой оправе. В черном сюртуке. Похож на факельщика из бюро похоронных процессий. С первого взгляда он мне очень не понравился, но говорил — словно по книге читал, — рассказывал Крюгер.

— Говорил? Значит, вы с ним беседовали? — вставил я саркастически.

Крюгер, пристыженный, кивнул. Да, в конце концов между ними завязалась оживленная беседа. Господин как бы мимоходом упомянул, что он представитель прессы и ищет сенсаций. «Ну, — заметил он со смехом — в Грюнбахе я вряд ли натолкнусь на что-нибудь интересное». Когда Крюгер сказал ему, что он студент, господин заказал пива, потом заказал еще и еще. И беседа от этого становилась все оживленнее.

Мне не составило никакого труда представить себе, как опьяневший Крюгер сначала только намекнул, что и в Грюнбахе могут происходить интересные вещи, потом высказывался все определеннее и кончил тем, что в своем пьяном энтузиазме выболтал все. И, уж конечно, не забыл собственной убежденности в замечательной справедливости и идеальном государственном строе звездных существ.

— Ах, этот подлый свистун! С каким наслаждением я набил бы ему морду! — закончил Крюгер в отчаянии.

— Итак, — набросился я на него, — несмотря на ваше обещание молчать, вы разболтали всем — сначала подруге, потом отцу и наконец репортеру. Нечего сказать, славную кашу заварили!

Я начал кричать. В приступе безумного гнева я вымещал теперь на злосчастном Крюгере мое смятение и мой страх:

— Если бы я знал, как мало можно на вас положиться! Скажите, пожалуйста, что я теперь должен делать? В своем легкомыслии вы задумались хотя бы на секунду о последствиях, какие все это будет для меня иметь? Милостивое небо! Несчастный человек, что вы наделали?!

Я осыпал его упреками, потрясал кулаками и как бешеный метался туда и сюда по узкому чердаку.

Крюгер сидел, весь скорчившись, с опущенной на грудь головой — истинное воплощение раскаяния; лицо его беспрестанно то краснело, то бледнело.

— Простите меня... Я хотел только хорошего... только хорошего... Я думал, что, может быть, через прессу... — пролепетал он наконец, но я не дал ему продолжать: «Вот она, ваша пресса! — закричал я. — Нет, это слишком ужасно...»

А Янек сидел тут же со скрещенными на груди руками и сохранял холодное спокойствие. Он тоже потянул со стола газету и бегло ее прочел. На лице у него не дрогнул ни один мускул, только на губах играла насмешливая улыбка, словно печальный финал нашего вечера его ничуть не удивил и он все это предвидел заранее.

Искалеченный жизнью человек сидел на чердаке и недвижно смотрел в одну точку, будто в бездонный обрыв. Тени стропил и балок создавали черный и грозный орнамент, и на

его фоне фигура Янека показалась мне глубоко символической.

7

Чем дольше я пребываю в этом заведении, тем чаще ловлю себя на мысли, что мало-помалу здешние условия начинают казаться мне вполне сносными. Я могу теперь читать, писать, разрешить себе еще некоторые скромные удовольствия. Мне даже позволили распорядиться восемнадцатью марками семьюдесятью пятью пфеннигами, что остались в моем бумажнике. Сегодня санитар, которого я подкупил одной маркой чаевых, тайком принес мне трубку и кисет с табаком, лежавшие в кармане моей одежды. Я отправился в уборную и спокойно там покурил, пока санитар стоял на часах у двери.

Снизу, где расположены палаты беспокойных и буйных, все время доносится рев. Но даже и к этим страшным, звериным звукам я уже привык; исчезло чувство страха и перед искаженными лицами. Старший врач доктор Бендер как будто уже окончательно отказался от своих усилий и даже начинает пренебрегать мною. Его мрачная беспомощность, обнаруживающаяся при кратких посещениях моей палаты, производит прямо удручающее впечатление. Моей особой занимаются все меньше, а что мне еще нужно? Единственный повод для беспокойства — это то, что восемнадцати марок семидесяти пяти пфеннигов — виноват, теперь уже только семнадцать марок семидесяти пя-

ти пфеннигов — хватит мне ненадолго и я уже не смогу в дальнейшем скрашивать свое существование маленькими удовольствиями. В остальном все хорошо: на какое-то время я в безопасности, никто ничего не может со мной поделать.

Блаженное, мирное существование по сравнению с последними днями моей свободы!

И, когда я здесь вспоминаю те дни, что потянулись после нашего злополучного праздника на чердаке, кажется, будто я жил, задыхаясь в мучительном кошмаре, преследуемый невидимыми демонами, которые все теснее и теснее сжимали вокруг меня свой круг. Я никогда себе не прощу, что был слишком пассивен, давал событиям идти своим чередом, слишком мало думал о самозащите. Если же я и делал попытку защищаться, то настолько бессмысленную, что она походила на борьбу Дон-Кихота с ветряными мельницами.

После того несчастного вечера я сначала вообще ничего не предпринял в нелепой надежде, что все ограничится репортерским пасквилем, которому никто не придаст большого значения. И я бездействовал, несмотря на то, что внутренне изнывал от страха и разум мне настойчиво подсказывал, что я нахожусь в заблуждении, которое приведет к катастрофическим последствиям.

И действительно, несчастья последовали одно за другим с такой ошеломляющей быстротой, что сегодня я уже хорошенько и не помню, какая беда случилась сначала, какая позже. Восстановить хронологическую последовательность событий трудно, поэтому я буду их

описывать в том порядке, в каком они, так сказать, придут мне на карандаш.

Кто был главным зачинщиком, кто первым дернул за веревочку, мне неизвестно до сих пор. Было бы слишком примитивно подозревать в этом провизора Кинделя, хотя и он, вне сомнения, принимал здесь участие. Но, в сущности, и он был только орудием. Притаившийся где-то во мраке паук соткал паутину из невидимых нитей, я как в тумане брел вперед и не сразу заметил, что с каждым шагом запутываюсь все больше.

На следующий день после нашего праздника — это было воскресенье — жена вернулась из молочной совершенно расстроенная. Она встретила там соседку, и та язвительно сообщила, что сегодня во время утренней мессы в грюнбахской церкви священник произнес проповедь, которая явно относилась ко мне.

Этот священник, почтенный господин с розовыми щечками и неизменно елейным выражением лица, едва ли испытывал ко мне большую симпатию. Во-первых, потому, что я принадлежал к другому вероисповеданию, нежели большинство жителей Грюнбаха, и составлял, таким образом, чуждый элемент среди его паствы; а во-вторых, потому, что у него были основания подозревать меня в полном равнодушии к религии вообще. Репутация атеиста обычно очень легко устанавливается за учеными-естественниками.

Что бы он там обо мне ни думал, но воскресным днем в ярко освещенной, красивой старинной церкви Грюнбаха — стиль барокко — он произнес проповедь, где речь шла об

антихристе, о безбожных еретиках, тайно проникающих в общину благочестивых христиан; о дерзких вызовах небу, противоречащих духу священного писания и могущих привести только к беде.

Очень возможно, даже правдоподобно, что почтенный господин вовсе и не имел в виду меня лично. Но некоторые граждане Грюнбаха, конечно, тоже прочли статью в «Майницком Меркурии» и позаботились о ее распространении. Поэтому нет ничего удивительного, что проповедь об антихристе поспешили отнести к моей персоне. Когда я часом позже из чувства какого-то упрямства вышел на улицы Грюнбаха, то убедился по веселому любопытству, по бросаемым на меня взглядам, по группкам, образующимся при моем приближении, насколько быстро распространилась эта весть. Мне не повезло, потому что я встретил также и провизора Кинделя. С молитвенником в руке он как раз спускался по ступенькам церкви. Его воскресные моления всегда затягивались надолго. Разумеется, он сделал вид, что меня не замечает и не знает. Торжественным черным вороном гордо прошествовал он мимо меня, и на его тонких губах играла улыбка злобной радости. Мне очень хотелось в ту минуту крикнуть ему вслед: «Ах ты, ползучий гад и шпик!»

Разумеется, всех больше пришлось натерпеться моей бедной жене. Шла она за покупками — от нее сторонились, как от прокаженной. Лавочник грубо потребовал заплатить долг двадцать девять марок немедленно. Некоторые знакомые перестали с ней кланяться. Каждый

раз бедняжка возвращалась домой совершенно больная.

И все же пока ничего опасного в этом для меня не было; эти мелочи лишь раздражали, а иногда и смешили. Гораздо больше меня встревожило, когда как-то вечером ко мне пришел Крюгер и сообщил, что Янек арестован.

С того вечера Крюгер сильно переменялся. Лицо побледнело, появились черные круги под глазами. Он, как мог, старался угодить мне, бросал иногда в мою сторону взгляды, полные раскаяния и мольбы о прощении. Он надеялся и ждал, что я прощу ему весь вред, какой он, сам того не желая, мне причинил. Но мой гнев против него еще не остыл. Крюгер стал неразговорчивым, ушел в себя; бывая радостная непосредственностью сменилась мрачной сосредоточенностью, горькая складка легла вокруг рта, и казалось, что он все время о чем-то напряженно думает.

— Мы должны что-то делать! — вырвалось однажды у него. Но я безжалостно отпарировал: — Вы сделали уже слишком много.

Скорее всего, что в кузницу к Янеку он пошел в поисках хоть какого-нибудь утешения. И прибежал оттуда вне себя ко мне на чердак.

— Надо что-то предпринять для Янека! Может быть, ему еще не поздно помочь! Он пока, наверное, находится здесь, в муниципальной тюрьме. Его арестовали только сегодня утром.

После некоторого колебания я отправился в путь. Предложение Крюгера сопровождать меня я отклонил: боялся, что он своей неурав-

новешенностью вызовет лишь новые осложнения.

Ночь была ненастная, улочки Грюнбаха казались вымершими под черным небом.

В комнате полицейского участка дежурил, восседая с трубкой в зубах за кружкой пива, старый Бюргер—спокойный, добродушный человек с седой головой. Уже много лет он, к всеобщему удовольствию, исполнял обязанности полицейского при муниципалитете Грюнбаха.

— Добрый вечер, господин доктор!— приветствовал он меня со спокойной учтивостью. Ему, очевидно, было все равно, что про меня рассказывали, а может, слухи до него пока не дошли.

Я предложил Бюргеру табаку для его трубки и спросил, известно ли ему что-либо о Янке.

— Пока еще сидит здесь. Завтра я отвезу его в Х.— Бюргер показал большим пальцем себе за спину, где находилась тюрьма Грюнбаха— две или три камеры, примыкавшие к дежурной комнате.

— Но за что же его арестовали, за что?— вопрошал я.

Старый Бюргер мгновение колебался: он не был уверен, совместимо ли с его служебным долгом ответить на мой вопрос. И хотя это вряд ли было совместимо, мне все же удалось добиться от него толку. Похоже, он уже давно тяготился службой и гнев начальства особенно его не страшил.

— Мне было просто неловко,— начал он,— свински с ним поступили, с этим бедным ма-

лым. Но что мне оставалось делать? Сегодня утром отправился я с ним в казармы Бергдорфа, где стоят янки, — ведь вся эта история связана с ними, с американцами. К нам вышел офицер с переводчиком. Но, когда я кончил докладывать, офицер посмотрел на меня так, словно вот-вот собирался выплюнуть мне в морду свою жевательную резинку. Он велел мне передать Янеку через переводчика, что дело рассмотрит германский суд, и на лице у него в ту минуту было такое брезгливое выражение, будто от меня пахло тухлой рыбой. Мне даже стыдно стало. Наши-то хотели спихнуть это подлое дело на американцев. А тем наплевать. Что ж, большой опасности, полагаю, для Янека нет. Самое большее и самое вероятное — его вышлют.

— Но что же, однако, он сделал? — спросил я, недоумевая.

— Кража оборудования союзников. Как будто старый лом, которым он воспользовался, имел хоть какую-нибудь ценность! — Бюргер сердито высморкался и отхлебнул пива.

У меня вдруг мелькнула догадка. «Можно мне лично сказать Янеку два слова?»

Бюргер в замешательстве почесал голову.

— Нет, господин доктор. Этого нельзя. Такие вещи строго запрещены. Нет, никак не могу позволить.

— Всего две минуты! Ни одна живая душа не узнает. А вы пока что набейте себе трубку еще разок.

Я наседаю на Бюргера, пока тот не уступил:

— Ну, хорошо, будь по-вашему. Только, если это выйдет наружу, я полечу со своего мес-

та,— сказал он сердито.— А впрочем, мне наплевать. Уеду тогда к брату в Мюнхен. У него там свое дело, и я ему пригожусь. Здесь мне все уже опротивело. Но только две минуты, господин доктор, не больше. Если Кранц вернется с обхода, я свистну, и вы смывайтесь через заднюю дверь. Кранц спуску не даст, лютей человек.

Он провел меня боковой дверью в камеры. Только одна из них была занята, и в ней при тусклом свете висячей лампы я увидел Янека. Он сидел на нарах, подперев голову руками. Заметив меня, он вскочил, и губы его сложились в уже хорошо мне знакомую загадочную и зловещую улыбку.

— За что они вас посадили, Янек?— воскликнул я взволнованно, но Янек из-за разделявшей нас решетки сделал успокоительный жест рукой: «Вам нечего бояться, доктор...»

Вот что я от него узнал. На открытой местности, приблизительно в пяти километрах от Грюнбаха, несколько месяцев назад американские воинские части проводили маневры с пушками и танками. Шофер одного санитарного джипа разбил свою машину, наехав на большой камень. Я сразу вспомнил об этих обломках, заросших травой и сорняками, которые я видел на опушке леса, когда гулял в окрестностях Грюнбаха. Мотор и колеса забрала служба технической помощи, а совершенно изуродованный кузов был оставлен на месте: сочли, что не стоило с ним и возиться. Вот из этого-то кузова Янек и вырезал кусок материала; остатки были обнаружены у него в кузнице при обыске, сделанном полицией в результате

анонимного доноса. «Кузов машины,— ухмыляясь, заключил Янек свой рассказ,— был из алюминиевой жести».

И тут я все понял. На моей антенне в одном месте сохранились еще следы краски, которые вполне могли остаться от слов U. S. Artu. Так вот откуда взялся дешевый материал! Я посмотрел на Янека с ужасом, и он сразу угадал мою мысль.

— Вам нечего бояться, доктор,— повторил он насмешливо.— Я не сказать, и я не буду сказать. Вы — спать спокойно.

Я не мог вынести презрительного взгляда его черных глаз, опустил голову и тихо проговорил: «Спасибо, Янек...»

Когда я уходил, Янек даже не взглянул на меня; засунув руки в карманы латаных штанов, он прислонился к стене и застыл в угрюмом спокойствии.

Весьма возможно, что история с Янеком не имела ко мне никакого отношения. Просто нашелся удобный повод отделаться от этого человека. Но могло быть и так, что ему, как слабейшему, нанесли первый удар. Как бы то ни было, возвращаясь в ту ночь домой, я чувствовал, как пылают мои щеки. Несмотря на стыд, было и чувство облегчения: на Янека можно положиться. Да! Я верил Янеку и был убежден, что он не проговорится.

Я пришел к себе на чердак. Крюгер дожидался там в волнении. На вопрос: «Ну, что же с Янеком?»— я отвернулся к аппаратам и ответил с наигранной беспечностью:

— Ничего страшного. Будьте совершенно спокойны. С Янеком все обойдется. А мы се-

годня попробуем еще раз. Включайте, Крюгер.

Пока Крюгер возился с приемником, я пошел направить антенну, но первым делом потихоньку соскреб отверткой с алюминия следы краски.

Всякий поймет: в своем нынешнем положении я принялся за работу упорнее, чем когда-либо раньше, ибо все еще тешил себя надеждой, что каждое новое дополнение к сделанному открытию лишь укрепит мои позиции и в конечном итоге приведет к торжеству над недругами. Занятия на чердаке остались теперь моим единственным утешением, дававшим возможность забыть обо всем остальном. Однако и здесь обстоятельства складывались неблагоприятно. В эту пору года, на пороге зимы, небо было постоянно затянуто тучами, стоял густой туман и звезды показывались редко. Без достоверных ориентиров, без специальной аппаратуры все труднее становилось отыскивать в непроницаемом мраке небосвода направление, откуда приходили сигналы, и согласовывать положение антенны с ходом светил. Для покупки точных приборов у меня не было денег. Ухудшение приема могло быть вызвано и переменами в состоянии ионосферы или еще какими-нибудь неблагоприятными факторами, но только ловить сигналы становилось все труднее и труднее. Они сделались тише, и между ними случались длительные перерывы, когда слышимости вообще не было.

Неведомые существа вновь отказались в своих передачах от бешено быстрой системы сигналов. Быть может, они усомнились, есть

ли у нас необходимая для расшифровки аппарата и электронно-счетная техника. Теперь они передавали исключительно серии сигналов, которые явно обозначали простейшие математические формулы, какие у нас на Земле были известны уже древним грекам. А некоторые из этих формул знали даже древние египтяне и вавилоняне.

Например, передавался ряд цифр: 3—4—5, затем 6—8—10. Совершенно бесспорно, что это были пифагоровы числа, названные так по знаменитой теореме Пифагора, гласящей, что в прямоугольном треугольнике сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Надо думать, что математические зависимости сохраняют свою силу для всей Вселенной.

За этими рядами цифр, по всей вероятности служившими ключом к пониманию дальнейшего, следовали иные, которые, к сожалению, мне удалось записать лишь с большими пропусками. Шли комбинации: 1—1 2—4 3—9 4—16. Я истолковал их как простые функциональные уравнения второй степени $y=x^2$, то есть как призыв к установлению системы координат, посредством которой можно будет выразить уже более широкий круг понятий. Убеденный, что именно так оно и было задумано, я надеялся извлечь новые данные о неизвестных существах, но, прежде чем я успел что-либо записать, сигналы опять оборвались, и пришлось прождать много часов, пока они зазвучали вновь, но на сей раз настолько слабо, что добрая половина была для меня потеряна. После первоначальных поразительных успехов какая обидная неудача!

Как ни искал я дефекты в самом аппарате, так ничего и не нашел. В этой работе мне деятельно помогал Крюгер, все время хранивший молчание. Но однажды он не сдержал накопившуюся в его душе тревогу и боль. Его прорвало.

Почти в отчаянии он кричал, что я должен наконец что-то предпринять. Вместе с другими честными учеными, находящимися в оппозиции к правительству, презирающими продажных писак из «Майницкого Меркурия» и иже с ними, я должен бороться, апеллировать к зарубежным научным обществам, одним словом, мужественно вступить в бой! Его отец, например, возмущен до глубины души всем этим безобразием: ведь это же совсем как в Средние века, сказал старик и заявил о своей готовности, если я дам на это согласие, переговорить с некоторыми из своих старых друзей. Надо поднять шум в печати, да такой, чтобы пасквилянты из «Майницкого Меркурия» попрятались в свои логова. Но первый шаг в этом направлении должен сделать я сам!

А я все отклонял его советы. Дескать, предоставьте, Крюгер, мне самому решать, что я должен делать, и перестаньте об этом шуметь. В нужный момент я поступлю так, как сочту правильным!

Теперь мне и самому непонятно, почему я тогда ничего не хотел предпринять. Удерживала меня — врожденная ли, привитая ли воспитанием — робость перед начальством, перед властями, верноподданический дух. Или я уж слишком отчужден от мира? Или просто-напросто трус, не решающийся выступить откры-

то против «Майницкого Меркурия» и тех, кто за ним прятался? Сколько я ни размышлял над этими вопросами, всегда кончалось тем, что я решал подождать. Неужели я был тогда настолько наивен, что мог надеяться на появление чудесного ангела-спасителя, который возложил бы мне на плечи мантию почета и восстановленной справедливости?

Единственная мера, на которую я был согласен,— посылка отчета о моем открытии в Британское королевское научное общество в Лондоне с просьбой передать отчет руководству радиообсерватории Джодрелл Бэнк близ Манчестера. В сопроводительном письме я изъявлял готовность предоставить мое открытие в распоряжение обсерватории, на соответствующих условиях принять участие в дальнейших работах этого гигантского учреждения. Больше я не сделал ничего, хотя и видел, что моя апатия повергает Крюгера в состояние мрачного отчаяния, а оно, как я опасался, рано или поздно может проявиться в каком-нибудь новом безрассудном поступке.

Не прошло и двух дней после опубликования статьи в «Майницком Меркурии», как случилось то, против чего меня уже не раз предостерегал какой-то внутренний голос. Но мне никогда не хватало мужества продумать эту угрозу до конца. Нет, старался я себя успокоить, такая вещь не может произойти!

Утром в институте, когда я надевал халат, готовясь к практическим занятиям со студентами, меня вызвали к профессору фон Егеру. Мне очень хорошо запомнилось мгновение, когда я нерешительно снял халат, удивленно

оглядел полутемную в то хмурое утро комнату, задержал взгляд на поблескивающих за стеклами шкафов инструментах, на полках с книгами, на вечно капающем кране водопровода. Словно в тишине прозвучал гулкий и зловещий удар гонга. Даже голоса студентов, уже дожидавшихся меня рядом в небольшой мрачной аудитории, вдруг стали глуше. Так понижают свои голоса люди, когда знают, что рядом находится мертвец или приговоренный к смерти. Неужели же?

Еще в коридоре по пути в кабинет начальника я старался себе внушить, что предстоит лишь обычный разговор о моей работе, не больше. Но едва я вошел, лицо профессора фон Егера, сидевшего за письменным столом, рассеяло все сомнения. Оно вообще не отличалось особой приветливостью, но теперь, в сером свете туманного утра, просто пугало, в особенности узкий подергивающийся рот... Серозеленые глаза светились тусклым ледяным блеском. Он даже не предложил мне сесть.

— Господин доктор Вульф, — не ответив на приветствие, начал он так, как будто готовился произнести приговор, — господин доктор Вульф! Я не буду вдаваться в подробное обсуждение появившейся недавно в нашей прессе статьи, бесславным героем которой являетесь вы. Точно так же не имело бы никакого смысла говорить вам о тех неприятных подозрениях и трудностях, которые вы своими безответственными поступками навлекли на наш институт и в первую очередь лично на меня. То, что я теперь от вас самым решительным образом отмежевываюсь, к сожалению, не отводит от

меня справедливого упрека: слишком мало внимания уделял я вам до сих пор и тем самым дал возможность беспрепятственно заниматься такими делами, довести их до такого предела, что...

Еле сдерживаемый гнев помешал ему говорить дальше. Тонкие пальцы его холеных и жестоких рук сжимались и разжимались на ободке письменного стола, словно он собирался этот ободок задушить. Когда он наконец овладел собой и смог продолжать, передо мной снова был хорошо знакомый, холодный и безразличный профессор фон Егер.

— Само собой разумеется, что при сложившихся обстоятельствах,— говорил он в стиле судебного приговора,— от дальнейшего сотрудничества с вами я должен быть избавлен. Я уже возбудил дело о дисциплинарном расследовании. Тогда и будет решено, допустимо ли вообще ваше дальнейшее пребывание в университете. Конечно, вы вольны обжаловать принимаемые решения. Но я надеюсь, что вы и сами не станете обострять ситуацию до последних пределов и пойдете навстречу моему требованию. Я желаю, чтобы до окончательного решения дела вы считали себя в отпуске и с сегодняшнего дня не переступали порог института. Благодарю вас, пока все.

Я выслушал мой приговор стоя. Всякое возражение, всякая попытка оправдаться представилась мне при таком положении дел совершенно бесполезной, и я, молча поклонившись, удалился из кабинета. В коридоре мне пришло в голову, что я мог бы возразить, но я вдруг почувствовал страшную усталость. Воз-

вращаться назад, вступать в спор стало мне непосильно. Как во сне, забрал я из лаборатории свои вещи и, не попрощавшись со студентами, почти крадучись, покинул здание института.

Чтобы ко всем неприятностям не добавлять еще и драмы семейной, я пока скрыл от жены истину, сказав ей, что взял отпуск на несколько недель. Она удивилась такому поступку — ведь мы собирались будущим летом использовать отпуск для поездки в Люнебургскую степь, — но приняла это за очередное мое сумасбродство, которые за последнее время так ее тревожили. Кроме того, она еще всецело находилась под впечатлением статьи и враждебных выходов со стороны жителей Грюнбаха и ни о чем ином не могла думать. Любые попытки объяснить ей, чем была вызвана и статья и все последующее, она встречала только упреками:

— Зачем ты вообще занялся такими вещами? Мало тебе собственной работы в институте? Недаром я предчувствовала, что от твоих экспериментов на чердаке и от твоих новых знакомств ничего хорошего ждать нельзя.

Теперь у меня оставалось много свободного времени, и если я не занимался моими аппаратами, то шел гулять по Грюнбаху. Очень многие люди перестали со мной кланяться, но каждому из них я старался с беззаботной улыбкой заглянуть в лицо, будто все было в порядке. На это у меня еще хватало мужества. Но случалось, что, шагая в одиночестве по рыночной площади, я так остро страдал от сознания отчужденности, беспощадной травли, что во мне вспыхивала потребность бить камнями

стекла, громко вопить, бежать прочь, как безумному... словом, как-то сбросить с себя тяготившее надо мной проклятие, разбить невидимые стеклянные стены, окружавшие меня со всех сторон.

Пока продолжалось дисциплинарное дело, жалованье присылали мне на дом, так что хоть в этом отношении я мог еще оставаться спокойным. О возвращении Нидермейеру тысячи марок плюс восемь процентов я пока и не задумывался. На днях я его встретил — он как раз выходил из машины у подъезда своего нового дома на рыночной площади. При моем приближении он подпрыгнул, словно его ужалила оса, сделал вид, что меня не видит, и с поразительной при его брюшке и одышке быстротой вбежал в дом, как если бы его кишкам и козам грозил пожар. Несмотря на угнетенное настроение, я получил удовольствие от этого зрелища. Будь я чуть злее, я крикнул бы ему вслед: «У вас расстройство, господин Нидермейер? Бегите скорей, не то будет поздно!»

На следующий день ко мне явился какой-то парень — я видел его впервые — с письмом, которое ему было поручено передать только мне лично. Письмо оказалось от Нидермейера.

«Господин доктор Вульф,— писал он,— я очень сожалею, но вы, конечно, поймете и сами, что наше знакомство больше продолжаться не может. Как вам известно, вы мне остались должны тысячу марок плюс восемь процентов. Возврата первой части долга я, собственно, ждал уже в начале текущего месяца. Хотя эти деньги мне в настоящее время крайне необходимы для коммерческого оборо-

та, я тем не менее готов отсрочить выплату первого взноса на месяц или даже на два. Только заклинаю вас небом никому не рассказывать, что я вам дал взаймы денег. Пользуясь также случаем поставит вас в известность, что обстоятельства заставляют меня расторгнуть наш договор по сдаче дома, поскольку землю, на которой он стоит, я намерен продать. Настоятельно прошу вас уничтожить это письмо сразу же по прочтении. Коммерции советник Йозеф Нидермейер. Кишки и кожи оптом. Грюнбах, Площадь Ратуши, 7».

Как уже упоминалось, о возврате Нидермейеру долга я еще не задумывался. Ему придется подождать своих денег не один месяц и не два. Я понял, что в душе этого человека кипела борьба между страхом, духом наживы и, может быть, состраданием. По существу, Нидермейер не такой уж плохой малый.

Гораздо хуже сложилось дело с Крюгером. В тот же самый день, когда меня уволили из института, он примчался ко мне на своем громающем мотоцикле и пулей влетел на чердак.

— Вас вышвырнули вон, и вы не протестовали! Почему вы не высказали им в лицо своего мнения? Именно теперь вы должны были...

Он рассказал мне, что даже пытался уговорить студентов выразить протест против моего увольнения и, если ему верить, у некоторых встретил поддержку. Во время горячих дебатов на эту тему он, стоя посреди аудитории, на виду у всех, дал звонкую пощечину сыну высокопоставленного чиновника: тот назвал меня коммунистическим агентом и сказал, что со мной поступили, как я того заслуживаю. Остальные

студенты разделились на два враждебных лагеря: одни солидаризировались с Крюгером, другие — с сынком государственного мужа, так что дело едва не дошло до всеобщей потасовки.

— Вы совсем рехнулись, Крюгер! — закричал я в ужасе.— Вы лишь ухудшаете положение!

Крюгер замолк и смерил меня взглядом, в котором выразился отчаянный вопрос. Сохранять пассивность, как это делал я, он не мог. А что же он должен делать? Видимо, его вера в меня начинала колебаться.

Последствия его несдержанности дали себя знать уже на следующий день. Его вызвали в деканат, подвергли там мучительному допросу, осыпали упреками.

— Но я им высказал всю правду,— сообщил он мне с мрачным торжеством.— Этот профессор фон Егер тоже там присутствовал. Но им не удалось меня запугать. Под конец они пригрозили увольнением из университета. Увольняйте, ответил я им, если свобода у нас состоит в том, чтобы...— Крюгер внезапно замолк под моим строгим и осуждающим взглядом. Нет, он меня решительно не понимал...

Целый вечер молча и упорно мы возились с аппаратами. Вдруг Крюгер выронил отвертку и разорвал на себе ворот рубашки.

— Мне душно, душно! — простонал он.— Не хватает воздуха! — Он наклонился ко мне совсем близко, в его расширенных глазах было странное выражение.— Уедем, господин профессор! — проговорил он.— Уедем отсюда! Здесь больше не выдержать. Бросим все и уедем. Где-нибудь в другом месте начнем все

сызнова. Но главное — уедем отсюда! Я больше не могу...

— Но куда же, Крюгер? Ведь это же нелепость,— пробовал я его образумить.

Может быть, в моих увещаниях прозвучало больше укоризны и больше жестокости, чем я сам того хотел. Во всяком случае, Крюгер, как сломленный, поник головой и больше не произнес ни слова. Прощаясь со мной около полуночи, он горячо сжал мне руку: «До свидания, господин профессор!»

Мне показалось, что на глазах у него блеснули слезы. Он поспешно отвернулся и стремглав бросился вниз по лестнице. По бешеному треску его мотоцикла я понял, на какой непозволительной скорости он пустился вдоль окутанной ночным туманом улицы. Постепенно шум мотора заглох в ночи. Ни в следующий вечер, ни позднее Крюгер не пришел.

Итак, я остался один на чердаке со своими аппаратами. Но и звезды от меня отвернулись. Сигналы были теперь так слабы, что даже при максимальном усилении едва удавалось распознавать их за помехами и беспорядочными шумами из космоса. Они могли вот-вот совсем раствориться в этой музыке сфер, вызванной физическими процессами. Менее натренированный слух, чем мой, уже свыкшийся с их звучанием, вообще не смог бы их распознать, даже и слух ученого. Или снова закрылись ворота космоса? И именно теперь! Я сидел, надев наушники, и тупо смотрел на черные тени, отбрасываемые потолочными балками. Контрольные лампы — и те, как мне казалось, стали светить слабее; даже мои собственные глаза,

переутомленные, видели хуже. Все вокруг постепенно погружалось в безысходный мрак.

Так по крайней мере казалось мне в одинокие ночные часы на чердаке, и безмерная усталость и уныние грозили окончательно подавить меня. Почему я так одинок? Не совершил ли я уже в самом начале какой-то роковой ошибки? В чем я ошибся?

За последние дни я стал чаще заходить к матери, в ее комнатку. Конечно, и до нее дошло кое-что о творящемся вокруг нас,— жена, наверное, ей пожаловалась. Вряд ли старушка с омраченным уже рассудком имела силы разобратся в смысле происходящего. Я даже и не пробовал ей объяснять хотя бы в общих чертах сущность моего открытия. Однако, как это ни странно звучит, в каком-то смысле она все понимала, и понимала лучше других; даже, может быть, лучше меня самого.

— Если человек хочет что-то сделать, то пусть доводит до конца или не делает совсем,— сказала она как-то раз с обычным для нее простодушием.— Если тебя за что-нибудь порицают, значит, ты или не прав, или трус. А кто боится, тот всегда не прав. Вот я, например, ничего не боюсь, даже смерти.

Конечно, все это были общие слова, и тем не менее они звучали потрясающе верно. Когда мать так говорила, я сидел около нее, погруженный в задумчивость, и смотрел в окно на пелену тумана, стлавшуюся по полям. От ее слов мне всегда становилось легче.

Сегодня вечером, например, она сказала:

— Ты так много учился, и у тебя такие хорошие отметки. Кому, как не тебе, лучше всего

знать, что правильно, а что нет. Так не давай же сбить себя с толку, зачем тогда было твоему отцу и мне тратиться на твое образование?..

А в самом-то деле, достаточно ли я учился и не забыл ли выучить самого важного? Мне вспомнился мой старый наставник — ученый с мировой славой. Теперь он, уже глубокий старик, уединенно живет в маленьком местечке на берегу Бодензее. Я учился у него в Гамбурге. Непокколебимо принципиальный, он навлек на себя немилость вышестоящих, и мне очень хорошо запомнилась его прощальная лекция. Как сейчас, вижу его перед собой на кафедре: высокий, красивый лоб, ясные, проникновенные глаза, умная, немного печальная улыбка.

— Позвольте мне быть сегодня чуточку патетическим,— сказал он.— Обычно я ненавижу декламацию, но важность этой минуты извиняет меня. В течение всех этих лет я старался передавать вам знания. Но сегодня я хотел бы сказать несколько слов об этических ценностях, без которых любые знания, любая образованность ничего не стоят. Я имею в виду ответственность ученого, его обязанность защищать свои научные убеждения, обращать их на благо ближних, предостерегать ближних от ошибок и заблуждений. Тот, кто кривит душой, сгибается, становится ради денег, славы или из малодушия покорным рабом и готов служить неправым целям,— тот не заслуживает имени ученого. Мало знать и быть разумным — надо еще иметь мужество бороться и страдать за разум. Джордано Бруно сожгли, Галилея пытали, Роберта Майера осмеяли, Эйнштейна

заставили эмигрировать. Если бы все эти великие люди, владея истиной, малодушно смолчали, их дело оказалось бы бесплодным, они ничего не изменили бы в мире и уже давно имена их были бы преданы полному забвению...

Мой старый учитель тогда не покривил душой, не согнулся и... лишился кафедры. Спустя несколько лет он поднял свой голос против безумия атомных вооружений и снова навлек на себя немилость. Но забыт он не был, и я тоже его не забыл. В истории науки и прогресса его имя будет вечно сверкать в немеркнущей славе, а имен тех, кто его преследовал, никто и не вспомнит. И меня, если я буду продолжать действовать, как действовал до сих пор, забудут раньше, чем я стану известен. Быть преданным забвению в результате пасквильной статьи в «Майницком Меркурии»... Нет, это безумно обидно!

И я начал понимать, в чем заключалась моя ошибка. Я считал, что мне надлежало заниматься только научным открытием, к прочему я оставался глух и слеп, уверенный, что со всем справлюсь сам. Но разве может взойти и расцвести растение, если своевременно не взрыхлить для него почву? Невидимый паук поймал меня в свою сеть и грозит задушить, потому что у меня не хватало решимости и мужества рвать его нити. Теперь речь шла уже не о судьбе моего открытия — открытие отошло на второй план,— а совсем о другом: о дальнейшем бытии. И не только о моем собственном бытии. Разве сейчас в целом свете, исключая, может быть, грюнбахских обывателей, не начинает мало-помалу побеждать ра-

зум, веления которого я хотел прочесть в сигналах из космоса? А здесь, на Земле, я ничего не предпринял, чтобы вступить за разум, ускорить его победу. Теперь я пожинал плоды своей пассивности.

Однако, несмотря на это горькое и запоздалое признание, я все еще медлил. Тут меня поразила новый, самый тяжелый удар: Крюгер исчез!

После того как он не появлялся три вечера подряд, я встревожился. Уж не попал ли он со своим мотоциклом в катастрофу: я помнил, с какой бешеной скоростью он в последний раз от меня уезжал. Или он заболел? Я не смог дольше выносить неизвестности и позвонил из Грюнбаха по телефону в университет. Говорил я измененным голосом. Мне ответили, что Крюгер уже три дня не посещает лекции, освободил свою комнату в студенческом общежитии и забрал оттуда все вещи.

В тот же вечер почтальон доставил мне телеграмму. Она была отправлена из Ганновера и содержала следующие слова:

«Простите меня. Я больше не мог. Крюгер».

И все. С телеграммой в руке я застыл на месте. Мрак вокруг сгустился еще больше. Теперь я остался совсем один.

8

В больнице на меня повеяло ветром перемен. Чувствую, что в моем положении должны произойти какие-то изменения. В хорошую ли сторону или в дурную — пока решить трудно.

Полчаса назад у меня побывал с генеральным обходом профессор в сопровождении доктора Бендера и сестры. Меня обследовали с необычайной тщательностью. После этого подробного осмотра профессор обратился ко мне в сухо официальном тоне, словно читал печатный циркуляр:

— Как вам, может быть, известно, господин доктор Вульф, каждое лицо, помещаемое не по своей воле в заведение данного типа, должно по истечении определенного срока подвергаться повторной медицинской проверке. Я уже поставил в известность полицейского врача и органы власти, с чьей санкции вы сюда направлены, что, по моему мнению, указанный срок для вас уже истек, а я со своей стороны как раз в вашем частном случае отнюдь не склонен ни нарушать норм закона, ни расширять рамки отпущенных мне прав.

Старший врач доктор Бендер стоял рядом со своим шефом, и у него было такое выражение лица, будто он только что хлебнул уксусу. Я напряженно ждал, что скажет профессор дальше, но он уже повернулся к двери со словами:

— К сожалению, сейчас у меня нет времени для более подробных объяснений. Сегодня к нам поступили очень тяжелые больные, которыми предстоит теперь заняться; затем у меня лекция. Вечером, скажем часов в шесть или в семь, я к вам зайду еще раз.

Процессия удалилась в обычном строю, и я, оставшись один, смог предаться размышлениям. У меня определенно создалось впечатление, что профессор не хотел откровенно разго-

варивать в присутствии доктора Бендера и сестры. Я готов был биться об заклад с кем угодно, что вечером он придет один.

Чем глубже я во все вдумывался, тем яснее становилась мне общая связь событий, но один пункт все же оставался по-прежнему неясным. Не вызывало сомнений, что по многим причинам лучшим исходом представилось запрятать меня туда, где я сейчас находился. Но как объяснить тогда всемерное облегчение мне условий? Ведь я же сам своими нелепыми поступками — должен в этом покаяться — подал им достаточный повод меня сюда запрятать. Маневр этих господ удался им даже лучше, чем они рассчитывали. Как ополоумевшего упрямого индюка, загоняли они меня в клетку, терпеливо похлопывая в ладоши, и вполне успешно достигли своей цели. Их торжество злит меня сейчас не меньше, чем моя собственная непростительная слепота: даже при самой минимальной проницательности надо было мне вовремя заметить, куда они гнут!

Единственным оправданием мне служит лишь то состояние духа, в котором я тогда находился: Янек исчез, и я со стыдом должен признаться, что так и не поинтересовался его дальнейшей судьбой. Моя бедная жена терпела страдания и унижения; в Грюнбахе почти все перестали с ней кланяться; ей, дочери уважаемого государственного чиновника, это доставляло невыносимую муку. Крюгер исчез... В институте на меня завели дисциплинарное дело... Но хуже всего было то, что мои исследования прервались на неопределенный срок и мне ничего не оставалось, как отчиты-

ваться перед собственной совестью в совершенных ошибках и промахах.

За последнее время сигналы вообще перестали быть слышны. Может быть, неведомые существа отчаялись добиться ответа с Земли и потому отказались от дальнейших попыток связаться с ней? Или потеряли надежду сделать свои сигналы понятными нам? Или, наконец (это кажется мне самым вероятным), они направили свои передачи в иные сферы космоса? Словом, я их больше не слышал — они оставили меня в горьком одиночестве, так что поводов для хорошего состояния духа у меня не было.

Хорошенько обдумав положение, я решил попытаться спасти то, что еще можно было спасти, и привел в порядок все свои записи. С ними я намеревался поехать к моему старому учителю, обо всем ему рассказать и спросить совета — что же делать дальше. У него еще сохранились давнишние связи с крупными учеными во всех странах мира; он состоял почетным членом многих научных обществ... Субъекты вроде репортера из «Майницкого Меркурия» могли поносить его сколько угодно, но в мире науки он пользовался огромным уважением, перед ним просто преклонялись, никто не осмелился бы на него замахнуться. Облаять из подворотни — на это еще отважились бы, но на большее вряд ли. На протяжении многих лет я не поддерживал с ним никакой связи, даже не поздравил с днем восьмидесятилетия, но был твердо уверен, что он не поставит мне это в вину, если я явлюсь к нему лично и расскажу про свою беду. Его чело-

веческие достоинства — я это знал — не уступали его таланту ученого. В отличие от меня, признался я себе в порядке горькой самокритики.

От Британского королевского общества ответ пришел неожиданно быстро. Свое письмо я написал, и, наверное, с ошибками, на английском языке. Мне ответили тоже по-английски. Письмо безупречно вежливое, но скептическое. Вот как оно звучало в переводе:

«Благодарим вас за ваше сообщение. Оно нас чрезвычайно заинтересовало, и высказанные в нем положения, безусловно, заслуживают всяческого внимания. К сожалению, оно оставляет ряд вопросов открытыми, а между тем ответы на эти вопросы представляются абсолютно необходимыми. Поэтому мы позволяем себе остаться при мнении, что окончательную ясность в затронутые вами вопросы может внести лишь их совместное обсуждение с учеными — специалистами в данной области. Если вы пожелаете, мы готовы сообщить вам фамилии и адреса этих господ. Но нас обрадовало бы еще больше, если бы вы смогли прибыть к нам лично и выступить с сообщением о ваших открытиях перед кругом заранее назначенных членов нашего общества. Если по каким-либо причинам у вас возникнут трудности с получением въездной визы, покорнейшая просьба обратиться в наше консульство. Мы со своей стороны предприняли бы тогда все возможное...».

Короче говоря, ответ прозвучал, как слова из Фауста: хоть услышали они весть, но им недоставало веры! Как известно, этой нации

свойствен трезвый реализм в оценке жизненных явлений, и я не остался в претензии за скептицизм, проявленный англичанами по моему адресу. Ведь именно в науке и в научных исследованиях, как ни в чем ином, решают дело лишь неопровержимые факты. И как могли бы они поверить какому-то неведомому доктору Вульффу, так сказать, с первого стука в дверь? Ведь он вполне мог оказаться всего лишь сумасбродным фантазером. Будь я профессором с громким именем, тогда все выглядело бы совершенно иначе. Может быть, и в этом отношении мог бы помочь мой старый учитель. На путешествие в Англию имевшихся у меня в тот момент денег, конечно, не хватало, но до Бодензее я добраться мог. Положим, лишь в том случае, если в ближайшие дни почтальон принесет мне жалованье, которое на этот раз что-то запаздывало.

Все мои мысли сконцентрировались теперь на этой поездке, будто там, на Бодензее, у моего старого учителя, я непременно обрету рецепт от всех бед; мне казалось, что важнее всего вырваться туда из окружающего меня здесь мрака, а там я сразу же шагну прямо в широко распахнутые мне врата эдема. В глубине души я таил намерение переложить ответственность за дальнейшие шаги с собственных плеч на плечи моего учителя, иными словами, я надеялся не на себя, а на другого. Надеялся, да опять оплошал напоследок. Напоследок потому, что до этой поездки на Бодензее дело так и не дошло...

Долгожданное жалованье мне наконец прислали. Я намеревался выехать на следующее

утро. Но около четырех часов пополудни ко мне прибыли три господина. Они вышли из машины, которая остановилась у моего дома. Она походила на большой черный гроб.

— Мы хотели бы видеть господина доктора Вульфа,— заявили они моей жене и, не дожидаясь приглашения, вошли в сени.

Я как раз сходил с лестницы на чердак.

— Прошу вас. Что вам угодно?

— Нам хотелось бы предложить вам несколько вопросов. Надеемся, что излишних затруднений вы нам создавать не станете,— ответил один из них с холодной вежливостью.

Я уже догадывался, какого рода вопросы собираются они мне предложить, и в припадке злобного отчаяния показал им лестницу, ведущую на чердак:

— Самое лучшее, если мы сразу поднимемся с вами туда!

Этот визит, конечно, испугал меня — да и кто бы на моем месте не испугался! — но особенно удивлен я не был, ибо втайне давно ждал чего-нибудь в этом роде. Я стал подниматься по лестнице первым, трое посетителей — за мной. Один из них, стройный господин в блестящем кожаном пальто, поднимался уверенной, по-воински четкой, как бы хрустящей походкой. За ним следовал, уже с некоторым усилием и чуточку задыхаясь, упитанный толстяк маленького роста, во всем черном. Замыкал процессию тип в непромокаемом плаще. По лестнице он так спешил, будто боялся отстать от остальных. Оказавшись на чердаке, все они огляделись с любопытством.

— Прямо на месте преступления! — поти-

рая руки, проговорил непромокаемый плащ. Очевидно, это была попытка сострить.

«Майор Шрадер!» — представился первый, в кожаном пальто. Затем он указал на своих спутников: «Господин доктор Финк!» — относилось к полнотелому в черном. «Господин Фридрих!» — указал он на непромокаемый плащ.

— Вы пожаловали по официальному делу? — осведомился я.

— Назовем его полуофициальным, — ответил майор. — Нам хотелось бы в спокойной обстановке выяснить некоторые обстоятельства. Мы намеренно воздержались от крайних мер. Я надеюсь, вы пойдете нам навстречу и не заставите нас использовать те возможности, которыми мы располагаем.

Вечерело. Бледный, холодный свет проникал сквозь чердачное окно. При этом освещении я смог теперь получше рассмотреть всех троих гостей.

Хотя майор был в штатском, военная выправка сказывалась во всем: в строгой манере держаться, в резкой, словно рубленой речи, в застывшем взгляде серых глаз, даже, казалось, в правильных, но холодных чертах лица — непроницаемого, лишённого индивидуальности, как маска. По всем признакам — офицер контрразведки.

В господине, которого мне представили как доктора Финка, я не мог сразу разобраться. Он преспокойно уселся на старый диван и некоторое время как бы оставался на заднем плане. Его круглое розовое лицо казалось стерильно чистым. На носу у него поблескивали

очки в узкой золотой оправе, с зеркальными линзами, отражавшими свет. Я не мог хорошенько рассмотреть спрятанных за ними глаз, но мне казалось, что он все время ко мне приглядывается, маскируя любопытство. Впрочем, может быть, он всего лишь рассматривал ногти на пухлых, ухоженных руках. Сидел он, положив ногу на ногу, причем ноги у него были на редкость маленькие. На них сверкали элегантные черные туфли. Над правым носком обнажилась полоска белой кожи. Уже сильно поредевшие светло-белокурые волосы были тщательно причесаны. Его превосходный темный костюм был, конечно, надушен одеколоном. Ему могло быть лет пятьдесят с лишним. Майор выглядел моложе.

Не могу сказать, чтобы оба господина были способны вызвать мою симпатию — это исключалось уже самой целью их визита, которую я угадывал, но, во всяком случае, их присутствие показалось мне относительно терпимым. Зато самую острую неприязнь возбудил во мне с первого взгляда третий посетитель — субъект в непромокаемом плаще. Его присутствие в доме я ощутил как личное оскорбление. По его сильно потасканному лицу определить возраст было трудно. Плотные сжатые губы и складки вокруг глаз могли бы свидетельствовать об энергичном характере, на самом же деле выражали хитрость и самую изменную подлость. По бегающим глазам с красными прожилками безошибочно угадывалось, на что способен этот человек. Имя Фридрих было, надо полагать, его служебной кличкой, и он являлся одним из тех тайных агентов политической полиции,

которые под предлогом охраны свободы и конституции рыщут теперь повсюду.

— Вот этим вы и принимаете сигналы? Покажите-ка нам, как это делается! — грубо пристал ко мне господин Фридрих.

Я посмотрел на него гневно: «Это что — приказ?»

— А ну, полегче... — собрался он было продолжать в том же стиле, но офицер одним движением руки призвал его к молчанию, и г-н Фридрих повиновался, слегка поклонившись начальнику.

Отношения этих троих господ между собой и отношение каждого из них ко мне постепенно прояснилось.

Офицер обращался к господину Фридриху с плохо скрытым презрением, а с загадочным доктором Финком держал себя несколько более непринужденно и снисходительно-весело. Господин Фридрих пресмыкался перед майором; обращаясь к нему, готов был после каждой фразы стать по стойке «смирно». Зато с доктором Финком господин Фридрих держал себя почти как с равным. Доктор Финк проявлял к майору внимательную почтительность, а с господином Фридрихом обходился холодно и осторожно.

Со мной майор, по крайней мере вначале, был умеренно вежлив; доктор Финк вообще долго ничем себя не проявлял и скорее походил на пассивного наблюдателя. А господин Фридрих грубо и нагло вымещал на моей особе свое подчиненное положение в этой группе, стараясь хотя бы по отношению ко мне уравнивать себя в правах с офицером.

Игра началась с того, что майор тоном, совершенно отличным от тона господина Фридриха, сказал мне:

— Нас весьма интересует, господин доктор Вульф, как происходит прием сигналов. Можете показать?

Слова прозвучали вежливо, но я расслышал за ними суровый приказ. Мне же хотелось остаться спокойным и деловитым, как подобало ученому.

— Нет, в настоящий момент это, к сожалению, совершенно невыполнимо, — отвечал я, не теряя самообладания. — Это, может быть, удастся поздним вечером. Впрочем, установить антенну на нужное созвездие я мог бы и теперь. Но принимать сигналы до наступления полной темноты мне еще ни разу не удавалось.

Офицер взглянул на часы и повернулся к доктору Финку. Тот едва заметным кивком головы выразил свое согласие.

— Хорошо, мы подождем до наступления темноты, — объявил майор. Визит, по-видимому, затягивался.

— Ваше созвездие, разумеется, восходит на Востоке? — ухмыльнулся господин Фридрих и покосился на майора. Уверенный в глубокомысленном сарказме вопроса, он жаждал одобрения.

Майор чуть скривил губы, а господин доктор Финк все так же невозмутимо продолжал рассматривать свои ногти. С его лица почти не исчезала блуждающая улыбка, и от этого он походил на грудного младенца, сытого и довольного.

— Разумеется, как же иначе! — насмешливо подтвердил я и посмотрел по очереди на всех троих. — Ибо на Востоке восходят все звезды. Даже вы едва ли в силах изменить этот порядок.

Майор сделал вид, что не слышал моих последних слов, и подошел к столу, где стояли аппараты.

— Не будете ли вы так добры объяснить нам, хотя бы в общих чертах, это устройство?

— Охотно! — откликнулся я и постарался любезно улыбнуться.

И я пустился в пространные объяснения, нарочно употребляя как можно больше специальных терминов: частота... емкость... мощность... резонанс... усилительные контуры. Уж я их помучаю своими объяснениями!

Майор слушал молча. Насколько он понял и вообще понял ли что-нибудь, судить не берусь. Господин Фридрих двигал скулами, время от времени кивал головой, бормотал: «Так... так...», словно всю жизнь ничем, кроме такой аппаратуры, не занимался. Убежден, что он ровно ничего не понял. Доктор Финк делал заметки в записной книжке.

Когда я наконец замолчал, майор неожиданно спросил:

— А где передатчик?

— Как? — изумился я. — Простите, но у меня только приемник. Был бы счастлив иметь передатчик, но увы!

— Как же вы держите связь? Или станете отрицать, что связаны с той стороной? — вмешался господин Фридрих. Его глаза сузились, насторожились... нет, этот тип опаснее, чем я

подумал. Упомянув о «той стороне», он показал пальцем в направлении, которое принимал за восточное.

— А письма? Или вы собираетесь отрицать и письма?

Он метал слова, как стрелы; я немного смутился.

— Нет, писем я не отрицаю... Но это была вполне безобидная научная переписка...

Наверное, грюнбахский почтальон растрезвонил про эту переписку! Я вспомнил: вручая мне корреспонденцию, он внимательно взглядывался в марку и обратный адрес на конверте и таинственно бормотал: «Гм... гм... с той стороны!», будто подозревал что-то нехорошее, о чем лучше молчать! Почтальон этот—примитивный, малоразвитый человек; бушевавшие его любопытство и подозрительность уже граничат со старческим слабоумием. Потому что речь шла лишь о некоторых советских научных публикациях. Их, по моей просьбе, пересылала сюда Берлинская академия наук. Мое легкое смущение сразу показалось подозрительным.

— Где у вас эти письма? — резко спросил господин Фридрих.

Я указал на книжный шкаф.

— Где-нибудь там, на одной из полок.

— Вы позволите нам осмотреть содержимое вашего шкафа? — спросил майор тоном, не допуская возражений. Теперь между господином Фридрихом и им установилась полная гармония.

— Пожалуйста, — ответил я уже несколько раздраженно.— Я хотел было потребовать ордер на домашний обыск, но махнул рукой:

ничего бы я этим не достиг, только стал бы в их глазах еще подозрительнее.

Майор сделал господину Фридриху знак, всецело препоручая ему выполнение грязной и унижительной операции, сам же подошел к торшеру. На чердаке становилось все темнее.

— Вы позволите? — проговорил майор. Включив свет, он направил абажур лампы так, что освещенными оказались книжный шкаф и мое лицо; сам же майор и диван, на котором сидел доктор Финк, остались в полумраке.

Господин Фридрих выполнял свое дело очень старательно. Вынимал из шкафа книгу за книгой, перелистывал ее, тряс, разглядывал в лупу корешки переплетов и затем небрежно швырял в кучу на полу. Она быстро росла. Когда шкаф был уже почти пуст, господин Фридрих опустился на колени и буквально заполз внутрь. В конце концов в глубине самой нижней полки он обнаружил тетради с записями моими и Крюгера. Увидев бесчисленные черточки и на первый взгляд ничего не говорящие колонки цифр, он на миг обомлел, а затем с торжествующим видом протянул тетради майору. Тот поднес их к свету, полистал, глаза его сузились, но лицо по-прежнему оставалось окаменелым. Он передал одну из тетрадей доктору Финку со словами:

— Что вы на это скажете?

Доктор Финк встrepенулcя, снял очки, подул на стекла и протер их белоснежным шелковым платком. Проведя некоторое время в сосредоточенном созерцании черточек и цифр, он покачал головой:

— Чрезвычайно странно... Я ничего не могу в этом понять, господин майор.

Я смотрел на них, и во мне нарастало ожесточение. Прежде чем я успел что-либо объяснить, майор заявил: «Пока что тетради конфискуются».

— Что?! Я протестую! — крикнул я, но майор приказал мне замолчать..

— Вы сможете протестовать в гражданском порядке, но меня в данную минуту это не касается. В непосредственной близости от вашего местожительства расположены новые оборонные объекты федеральной армии, это обязывает нас к повышенной бдительности. Поэтому я конфискую ваши материалы, пользуясь данными мне полномочиями, и несу за свои действия полную ответственность. Наша специальная служба проверит эти тетради. Если они и в самом деле так безобидны, вам их вернут.

Теперь в его голосе был металл. Исчезла вежливость. Ее сменила суровая безапелляционность. Возможно, он заподозрил, что мои значки и цифры представляют собой систему шпионского шифра. Подозрение не столь уж бессмысленное для такого профана в технике.

Как объяснить им истинное значение этих записей? С чего начать? С атомных номеров и массовых чисел? Я уже собирался это сделать, но майор взглянул на часы и затем показал мне на приемник.

— Сейчас шесть часов и на улице совершенно стемнело. Пожалуйста, теперь самое время доказать правильность ваших утверждений.

С чувством тупой, бессильной ярости я включил аппараты. Надежды у меня было

мало. В последние вечера сигналов не было слышно, а в ранние вечерние часы их вообще нельзя было принимать. Я почти в отчаянии вертел ручки, менял направление антенны, словно стараясь принудить судьбу прислать мне неожиданную помощь. Но все было напрасно. Ничего, кроме шумов и беспорядочных звуков, вызываемых физическими процессами в космосе.

— Сегодня ничего не получается, — объявил я наконец, тяжело переводя дыхание, и посмотрел на всех троих, будто умоляя понять меня.

— Вот это, скажу я, действительно не повезло, — с издевкой проблеял господин Фридрих. — Как по заказу — сегодня не получается! Эдакое невезение!

На сей раз его потуги острить вызвали легкую улыбку у офицера; даже доктор Финк иронически покачал головой.

— Вы позволите мне, — проговорил майор и, не дожидаясь моего согласия, снял с меня наушники.

— Но ведь что-то же слышно! Что это? — воскликнул он после нескольких мгновений напряженного вслушивания.

— Ничего существенного. Музыка сфер, — объяснил я угрюмо.

Доктор Финк привскочил на диване и внезапно оживился.

— Музыка сфер? Ах, вот оно что — музыка сфер! Право, очень поэтическое выражение! — Голос его звучал мягко, почти елейно. Теперь он смотрел на меня в упор, и я увидел, что в его глазах, скрытых за поблескивающими стек-

лами очков, появилось настороженное любопытство, как если бы он наблюдал подопытный объект. Значит, этот розовощекий и упитанный доктор Финк тоже далеко не безобидная фигура; он даже, может быть, как раз самый опасный из троих. Ах, если бы я тогда знал, в чем заключалась его роль!

Все острее я ощущал себя в роли затравленного зверя, вокруг которого постепенно смыкается кольцо охотников. Меня душили страх и гнев. Руки дрожали так, что я сознавал опасность вот-вот потерять последнее самообладание.

Теперь майор сам вертел ручки настройки. Треск и шум в наушниках доносился и до меня: нельзя сказать, чтобы он обращался бережно с моей аппаратурой. В конце концов он бросил и отдал мне наушники со словами: «Прошу вас, теперь продолжайте вы!»

— Сегодня не получается. Может быть, попозже... — выдавил я из себя.

— Хорошо, подождем еще, — согласился майор спокойно, а господин Фридрих насмешливо добавил: «У нас ведь есть время, хе-хе...»

Пока господин Фридрих еще раз пересматривал мои книги, майор присел на край стола. Лицо его сохраняло невозмутимое выражение. Он держал в руке перчатки и методически похлопывал ими по своему кожаному пальто, как бы отсчитывая секунды. Это ритмичное похлопывание страшно действовало мне на нервы. Мне все более казалось, что вся эта сцена на слабо освещенном чердаке приобретает какой-то сатанинский характер.

И тогда доктор Финк снова заговорил со

мною, как бы намереваясь скоротать время дружелюбной беседой, прекратить невыносимое молчание:

— Скажите, пожалуйста, господин доктор Вульф! Вы, стало быть, совершенно отчетливо слышали голоса, идущие со звезд? Как же они звучат?

Я постарался пояснить сравнением: «Они напоминают жужжание комара».

— О, как интересно! Итак, жужжание. Но перед этим вы говорили о музыке сфер. Значит, и музыку вы тоже слышали?

— И даже гимн, — ответил я насмешливо.

Господин Фридрих поднял голову от моих книг и заметил:

— Могу себе представить, что это был за гимн... хе-хе...

Но доктор Финк предостерегающе поднял пухлую ручку; майор после реплики господина Фридриха тоже нахмурился неодобрительно, и остряк тотчас умолк с виноватым видом.

— Скажите, удавалось ли вам воочию видеть тех людей, с которыми вы вступали в связь. Как же они выглядели, эти люди?

Вопрос этот я принял за шутку.

— Выглядели они, как медузы и пауки! Вид у них самый отвратительный. Я их видел... во сне. Они снились мне в кошмаре!

Я был почти благодарен доктору Финку за то, что он смягчил создавшуюся тягостную ситуацию и дал мне возможность свести дело к шутке. Атмосфера чуть разрядилась. Мы продолжали шутовскую болтовню в том же духе еще некоторое время.

Доктор Финк поинтересовался, слышала ли,

например, моя жена таинственные голоса, на что я ответил отрицательно. Но кто же их все-таки еще слышал? «Никто», — ответил я, потому что не хотел впутывать в это дело Крюгера да вдобавок и не знал, где он сейчас находился. Не было ли у меня трудностей и неприятностей в отношениях с другими людьми? О да! Более чем достаточно. Следовательно, у меня мало друзей? «Теперь не осталось ни одного», — был мой мрачный ответ. Так, так... Зато, наверное, много врагов, не правда ли? И не кажется ли мне иногда, что меня преследуют и травят? «И даже очень! Притом не без оснований!» — добавил я с насмешливым намеком.

Майор снова взглянул сначала на часы, потом вопросительно — на доктора Финка. Тот едва заметно кивнул головой, и майор обратился ко мне:

— Попробуйте еще раз.

Пока доктор Финк, сидя на диване, что-то строчил в своей записной книжке, я попробовал снова. Разумеется, безрезультатно.

— Ничего не выходит, — сказал я, пожав плечами.

— Попробуйте еще! — резко приказал майор.

Я стал пробовать еще. Пальцы у меня так дрожали, что я едва мог поворачивать ручки. На лбу выступил пот. Нет, я больше не мог!

— К черту, ничего не выходит! — вдруг закричал я очень громко и посмотрел на моих мучителей с ненавистью. — В это время года вообще не получается. Уже несколько недель слышимость все хуже и хуже. Как вам втолковать, если вы ничего не смыслите в этих вещах...

Меня прорвало, я орал во все горло.

Майор покачивал носком сапога. Доктор Финк внимательно за мной наблюдал. Господин Фридрих заворчал было в угрожающем тоне: «Эй, вы! Если вы тотчас же не...» Но майор перебил его: «Заткните глотку!» — и потом опять обернулся ко мне: «Пробуйте же, пробуйте еще!» И, так как я медлил, он хлопнул ладонью по столу и закричал:

— Слышите, что вам говорят? Пробуйте еще!

Я взглянул в его холодное, но сейчас чуть искажившееся от гнева лицо, в его серо-стальные жестокие глаза. Его начальнический окрик еще звучал в моих ушах, как вдруг у меня возникло яркое воспоминание или видение, называйте это, как хотите.

...Серое небо над краем унылого болота, из которого там и сям торчат изуродованные стволы деревьев. И по всему пространству, насколько хватает глаз, валяются в болотной жиже человеческие тела в солдатских шинелях: мертвые, мертвые, ничего, кроме мертвых. Я в пропитанных кровью штанах, с окровавленной головой, лежу на брезенте палатки у самого края болота, за которым раздается рев и скрежет, сверкает и грохочет чудовищный фейерверк разрывов. Но, невзирая на весь шум и гром, из полевого блиндажа, у входа в который я лежу, мне отчетливо слышен голос. «Ни шагу назад! Держаться во что бы то ни стало!» И я слышу этот голос до самой последней минуты: до того как все вокруг меня завертелось и беспмятство погасило страх смерти...

Как похож тот голос из блиндажа на голос

этого майора! Как похож! Это один и тот же тон, один голос!

Нет, больше я этого терпеть не могу!

— Почему вы не хотите пробовать еще? Я сказал вам: попробуйте! — снова прозвучал тот же страшный голос.

Но здесь мои нервы сдали, я не выдержал. Теперь-то я хорошо понимаю, что это был приступ бешенства; причиной его была моя слабость. Мой тайный страх, вся моя внутренняя неуверенность трансформировались в бурный взрыв гнева. Большая внутренняя сила всегда проявляется в спокойном достоинстве, и лишь человек слабый бушует и безумствует. Конечно, в тот момент понять все это было мне не под силу.

— Что вам, собственно, от меня надо? — заревел я. — Убирайтесь к черту! Оставьте меня в покое! Если вы подозреваете во мне иностранного агента или шпиона... — орал я, дико размахивая руками. — Вот они, мои аппараты! Я купил их на собственные, с грудом скопленные деньги, буквально голодая, чтобы иметь возможность их приобрести. Но разве такие, как вы, это поймут? Может быть, вы хотите конфисковать и аппараты? Так забирайте же к черту все, только оставьте меня наконец в покое! Вот вам аппараты! Вот!..

Я схватил лежавший около антенны молоток. «Вот! — вопил я в исступлении. — Вот!» — и хватил молотком прямо по установке. В этом сокрушительном ударе нашел себе выход весь страх, все горькое, что накопилось в моей душе за последние недели, но было, конечно, в этой вспышке и немножко притворства, симуляции.

Распалая себя собственным бешенством, я все же сохранил столько благоразумия и расчетливости, чтобы ограничить свой разрушительный аффект лишь одной-единственной выпрямительной лампой и одним конденсатором. Оба прибора были сравнительно дешевы, и, кроме того, в запасе у меня была еще одна такая лампа.

Хлопок лампы, звон битого стекла немного отрезвили меня. Видимо, я поранил себе руку осколком — она была в крови. Отбросив молоток, я отер пот с искаженного лица и воскликнул с торжеством ребенка, который из упрямства сломал свою игрушку: «Вот вам! Пожалуйста!»

Нынче я могу лучше, чем тогда, оценить реакцию присутствовавших.

Майор отошел немного в сторону и, прищурив глаза, смотрел на происходящее. Господин Фридрих пригнулся, словно готовый к прыжку хищный зверь; руку он опустил так, будто вот-вот выхватит револьвер или резиновую дубинку, чтобы образумить меня. Однако майор одним косым взглядом удержал его. Что же касается господина доктора Финка, то он расстался наконец с диваном и наблюдал за мной с явно благосклонным интересом.

— Успокойтесь, мой дорогой, — проговорил он необыкновенно мягко и поднял вверх пухлую ручку. — Успокойтесь. Все очень хорошо, все в порядке.

Когда я несколько затих и, тяжело дыша, ждал, что будет дальше, доктор Финк обратился к майору: «Я думаю, этого достаточно!»

На лице доктора Финка выразалось удов-

летворение, даже облегчение, будто сейчас произошло что-то очень приятное. Майор тоже казался удовлетворенным. На его губах появилась легкая улыбка, и он кивнул доктору Финку. Только господин Фридрих остался недоволен допросом. Он был мрачен, пытался даже возражать. Но майор резко оборвал его, показал на мои записи и распорядился: «Заверните все это и снесите в машину!»

Гости поднялись быстро. Майор, не попрощавшись, пошел своим хрустящим шагом впереди всех. За ним последовал доктор Финк, который уже у двери обернулся ко мне и ласково сказал:

— Я еще дам о себе знать. А пока прошу вас только об одном: постарайтесь успокоиться. Примите снотворного. Доброй ночи!

Последним, тяжело ступая, уходил господин Фридрих с кипой моих тетрадей под мышкой. Его прощальным приветствием был брошенный на меня взгляд, полный ненависти. Он, казалось, говорил: «Вот подожди! Дай только мне добраться до тебя, чтобы мы были один на один!»

Минуты три спустя я услышал, как умчалась машина.

После ночи, которая — мне всякий поверит — была не из приятных, я решил на следующее утро не откладывая ехать на Бодензее, к моему старому учителю. Однако осуществить это решение мне не удалось.

Около восьми часов утра перед домом остановилась санитарная машина. Из нее вышли двое крепко сложенных мужчин в белых халатах. Неторопливым шагом они направились к

двери. Один из них, по выговору баварец, сунул мне под нос бумажку: «Поедемте-ка с нами, господин хороший, и не вздумайте морочить нам голову! Вот так!»

Официальный документ, за подписью и печатью, гласил, что на основании заключения полицейского врача старшего советника медицины доктора Финка, в силу параграфа такого-то и такого-то уголовного кодекса (угроза общественной безопасности) и согласно предварительному решению суда, я направляюсь в университетскую психиатрическую клинику города Х. на предмет выяснения моей психической полноценности.

Чтобы получить этот документ в столь ранний час, понадобилось, наверное, в буквальном смысле слова поднять господ судей из постелей. Провести судебную процедуру согласно букве закона, то есть доставить меня в суд собственной персоной, сочли излишним, поскольку единодушные показания свидетелей не оставляли в моем случае никаких сомнений.

Сопrotивляться двум атлетам, явившимся за мной, было бы совершенно бесполезно. Один подошел ко мне справа, другой — слева. Под их эскортом я приготовился в дорогу. Моя плачущая и окончательно раздавленная несчастьем жена помогла собрать самые необходимые вещи и положить их в небольшой чемоданчик. А затем я уселся в санитарную карету.

И только по дороге в Х. я понемногу понял связь событий. В кругах, стоящих в интеллектуальном отношении чуть выше «Майницкого Меркурия», могли, очевидно, возникнуть сом-

нения, что же я собой представляю: являюсь ли я опасным агентом и шпионом, то есть за-конспирированным врагом государства, или же всего-навсего обыкновенным сумасшедшим, не отвечающим за свои действия. Распространенные Крюгером слухи о моем открытии должны были прозвучать фантастически. Влияние кругов, стоявших за «Майницким Меркурием», было, однако, столь велико, что после появления статьи надо было принимать конкретные меры, чтобы предотвратить упрек в преступной беспечности. Возникло нечто вроде заговора против меня, заранее и тщательно подготовленного; в нем приняли участие не одна, а несколько организаций, специально занимающихся подобными случаями. Постарались вникнуть в самую суть. А я повел себя именно так, как это больше всего их устраивало!

Решение, которое я подсказал им сам, являлось для них весьма простым и удобным. Смехотворный факт: весь сыр-бор разгорелся из-за сумасшедшего! Это должно теперь успокоить напуганную общественность и прекратить дальнейшее расследование.

Тут мне снова вспомнилось сияющее лицо старшего советника медицины господина доктора Финка и хотя и сдержанное, но явное удовлетворение майора. Что развязка их удовлетворила, я мог еще понять. Однако почему же она их прямо-таки ошастливила? Этот вопрос неотступно меня занимает на протяжении всего моего пребывания в больнице. Нужно выждать благоприятный момент, чтобы об этом спросить. Могу ли я, ставя такой вопрос, надеяться на ответ? Мне кажется, что момент

наступил. Сегодня же вечером спрошу профессора. Может быть, у него найдется ответ.

Эти заключительные строки я пишу в маленьком, закоптелом ресторанчике, недалеко от вокзала. Я здесь единственный посетитель. Заспанная кельнерша принесла мне чашку кофе, тут же за нее получила и больше не обращала на меня никакого внимания, оставив одного в немой и несколько печальной компании пустующих столов и стульев. Здесь я и обрел возможность спокойно закончить эту рукопись.

Я пошлю ее по почте моему старому учителю на сохранение, потому что держать ее у меня небезопасно. Может быть, мне удастся напасть на след Крюгера. Тогда я отдам эти страницы ему в память о времени, которое мы провели вместе с ним. Он заслуживает этой скромной радости. Пусть делает с рукописью, что найдет нужным.

Вчера, около девяти часов вечера, ко мне в палату вошел профессор. Как я и предвидел, он был один. Уже по тону его приветствия я понял, что он собирается сообщить мне нечто важное. Нахмурив брови, заложив руки за спину, он с опущенной головой раза два прошелся по комнате, видимо обдумывая, с чего начать разговор.

— Вы хотели мне что-то сообщить, господин профессор? — пришел я ему на помощь. — Но не позволите ли сначала задать вам один вопрос?

— Да, пожалуйста, сделайте одолжение, — кивнул он.

— Меня очень интересует, по каким причинам придают столько значения тому факту, что я нахожусь... как бы это выразить?... ну, скажем, в качестве гостя в подведомственном вам заведении? — спросил я напрямик, протирая стекла очков.

Губы профессора готовы были сложиться в ироническую улыбку, но с ответом он помедлил.

— Ну, хорошо! — решился он наконец. — Только я заранее полагаю само собой разумеющимся, что весь разговор останется между нами. Насколько мне известно, один из ваших друзей или знакомых поднял за границей в связи с вашим делом основательный шум. Хотя здесь и делают вид, что не обращают на это внимания или не слышат, но в глубине души побаиваются громкого скандала, считаясь с мнением заграницы. Такого рода вещи уже случались... Даже с министрами... Но дело сразу утратило бы остроту, если бы выяснилось, что... Сказать больше я не могу, надеюсь, вы меня понимаете.

Я понял. «Это, наверное, Крюгер», — сразу же догадался я и испытал одновременно и тихую печаль, и немного радости.

— Мой дорогой господин доктор Вульф! — продолжая ходить по комнате, сказал профессор, и в его сухом, деловом тоне мне послышалась, однако, некоторая торжественность. — Мой дорогой господин доктор Вульф! Неделю тому назад я предложил вам покончить со всей этой историей ценой отказа от ваших утверждений. Вы на это не согласились, и я воздаю должное вашей принципиальности. Поэтому я

не стану больше повторять своего тогдашнего предложения. Но наступил момент, когда мы должны прийти к какому-то результату.

— Имеете вы в виду медицинский результат? Доктор Бендер приложил много усилий, чтобы угодить властям, — вставил я ядовито.

Профессор быстро подавил улыбку. Он, по видимому, счел ее несовместимой со своим положением и авторитетом.

— Ну, — возразил он мне с сарказмом, — насколько я могу судить по вашей рукописи, вам тоже не совсем чуждо эдакое неодолимое преклонение перед властью предержавшей, перед государством и начальством.

Стрела попала в цель, и я от стыда закусил губы. А профессор, устремив глаза в пол и продолжая ходить взад и вперед, заговорил чуть изменившимся, еще более деловым тоном:

— Для окончательного завершения вашей истории имеются лишь две возможности.

Он сделал паузу.

— Какие именно? — спросил я.

Профессор поднял левую руку и оттопырил на ней большой и указательный пальцы, как бы давая мне наглядно убедиться в количестве возможностей.

— Первая возможность состоит в том, — говоря это, он обхватил всеми пальцами правой руки большой палец левой, — что вы еще некоторое время, скажем от четырех до шести недель, по собственной доброй воле останетесь здесь, пока вся эта история не начнет зарастать травой. По истечении названного срока я выпишу вас с медицинским заключением, будто вы перенесли нервное расстройство и ваши дейст-

вия нельзя ставить вам в вину. Чтобы вам не пришлось от чего-то отречься и перед кем-то унижаться, я найду формулировку, которая на будущее предохранит вас от слишком больших затруднений. Я даже почти убежден, что вас оставят в покое. С вашим непосредственным начальником профессором фон Егером я переговорю лично. Удастся ли добиться для вас чего-нибудь именно в этом, самом трудном пункте, я, конечно, с уверенностью предвидеть не могу. Во всяком случае, я со всей настойчивостью советовал бы вам из двух возможностей выбрать именно этот путь. Вне всякого сомнения, он был бы для вас лучшим.

Я молчал, и тогда профессор постарался сделать свое предложение еще заманчивее:

— Я, разумеется, смог бы предоставить вам на остальное время вашего пребывания здесь самые льготные условия, какие только допускает несколько своеобразный регламент в заведениях данного типа. Если вам не нравится здесь, я мог бы перевести вас в мою частную клинику... Насчет цены мы сойдемся! Если вы в больничной библиотеке не находите ничего для вас подходящего, я предоставил бы вам возможность пользоваться моей личной библиотекой, где — я уверен — найдутся книги, которые вас заинтересуют. Если вы хотите работать, сделайте одолжение! Я даже готов предоставить к вашим услугам мою вторую пишущую машинку. Свидания вам будут разрешены два раза в неделю, а если вам непременно хочется курить, то курите, персонал может этого и не замечать. Ваши пожелания относительно режима, если они не окажутся чрезмер-

ными, будут исполнены. Например, право двух-часовой отлучки в город, если вам понадобится приобрести книги по вашей специальности или еще что-либо. Итак, что вы скажете еще о паре недель в дешевом санатории?

Я все молчал, уставившись взглядом в одеяло. Ведь с этой комнатой я уже успел свыкнуться и чувствовал себя в ней почти как дома. И еще новые облегчения и льготы! Фактически я смог бы делать все, что мне заблагорассудится. Здесь я находился в безопасности, мог ни о чем не тревожиться, имел возможность спокойно работать, читать, писать. В самом деле, как в санатории, в котором после всех потрясений я так нуждался. Предложение было заманчивым.

— Но где же окажутся тогда моя ответственность и моя совесть? — пробормотал я про себя, чуть патетически.

Я произнес эти слова достаточно громко, чтобы профессор услышал. А может, просто угадав мою мысль, он ответил так, словно обращался к кому-то третьему, стоявшему у окна:

— Об этической стороне вопроса я судить не берусь. Это всегда остается делом собственной совести. Но я со своей стороны еще раз, и настойчиво, советовал бы...

— А какова вторая возможность? — спросил я тихо-тихо.

Его тон сделался еще деловитее. Голос звучал резко, когда он, обхватив указательный палец, ответил:

— Вторая возможность состоит в том, что я вас выпишу, выдав свидетельство о вашем полном психическом здоровье. Поймите меня правильно! В последнем случае я не напишу,

будто мы вас здесь вылечили. Не говоря уже о том, что я лично такое утверждение считал бы грубой ложью: излечение душевнобольных в столь короткий срок вообще вещь немыслимая. И поэтому я вынужден был бы заявить, что ни на одну минуту не возникало сомнений в вашем полном психическом здоровье и вытекающей отсюда вашей полной ответственности за все, что вы говорите и делаете. Надеюсь, вам ясно, какие это могло бы иметь для вас последствия и что, вероятно, ждет вас за воротами этого заведения. Причем тогда я уж не смогу вам ничем помочь. Вы оказались бы всецело предоставлены вашей собственной судьбе.

Я поднял руку, но профессор не дал мне говорить:

— Нет, не торопитесь с решением! Обдумайте все спокойно. Время еще есть. До завтра, даже до послезавтра, — сказал он и поспешно вышел, будто опасаясь, что я, пользуясь его присутствием, приму необдуманное решение и на него падет хоть часть ответственности за последствия.

Я раздумывал очень долго. Среди ночи не улежал в постели, встал и поднял на окне жалюзи. Теперь я мог себе все это позволять, не спрашивая согласия персонала.

По небу над голыми деревьями сада проносились клочья облаков. В черной дыре, не закрытой ими, полоскался месяц, брызгая серебром. Синеватым, холодным светом поблескивали одна-две звезды. Я долго на них смотрел. Неужели я им изменю?

Наконец около полуночи я принял решение.

«Мало знать и быть разумным, — надо еще

иметь мужество бороться и страдать за разум».

Я будто слышал эти слова моего старого наставника, меня мучил страх, как бы не заколебаться опять, как бы не сделаться снова жертвой сомнений и страха. Нет, надо действовать немедленно, откладывать нельзя!

Я подбежал к кровати и стал изо всех сил жать на кнопку звонка. Минут через пять прибежала дежурная сестра и зажгла в палате свет.

— Что случилось?

— Господин профессор еще в больнице? — спросил я.

— Кажется, он еще работает у себя в кабинете. Но вам-то зачем... — проговорила она в недоумении.

— Позовите его немедленно; скажите ему, я прошу его ко мне прийти! — я почти кричал.

Она сначала удивленно на меня посмотрела, потом очень рассердилась.

— Что это вам вздумалось? Или вы... — Она охотно сказала бы «спятили», но вовремя прикусила язык: в разговорах с обитателями этого дома такие выражения не допускаются. — Хороша я буду, если так поступлю! Профессор даст мне взбучку! Если вам что-то понадобилось, я могу позвать дежурного врача, даже старшего врача. Но профессора, в полночь! Боже правый, что это вам взбрело в голову?..

Я прервал ее гневные излияния угрозой:

— Хорошо, не зовите. Но в таком случае я буду звонить не переставая, а если и это не поможет, устрою такой скандал, что вы не об-

радуетесь. Повторяю вам в последний раз, позвоните ко мне профессора!

Кончилось тем, что она, метнув на меня яростный взгляд, сдалась:

— Хорошо, попробую это сделать! Но потом пеняйте на себя.

— Обо мне не беспокойтесь. Идите! — вы проводил я ее из палаты.

Не прошло и четверти часа, как ко мне вошел профессор. Он был удивлен и немного рассержен.

— Вы хотели во что бы то ни стало со мной говорить? Чутьочку поздновато! Я уже собирался ехать домой; сегодня у меня был напряженный день.

— Простите меня, — сказал я, — но дело действительно не терпит отлагательства. Я только хотел вас попросить отпустить меня завтра же утром. Это возможно?

Он вздрогнул от неожиданности. Не было сомнения, что он меня сразу понял, потому что не упрекнул ни единым словом за то, что я обратился к нему с просьбой в этот полуночный час. Да! Несмотря на разницу в нашей внешности и в общественном положении, мы с ним — родственные души...

— Хорошо, — сказал он деловито и холодно. — Я дам соответствующее распоряжение администрации, и завтра, еще до полудня, вы сможете уйти.

Он не сделал больше ни малейшей попытки меня отговаривать, не высказал никакой оценки, ничего. Для него, как и для меня, все было ясно.

Вдруг он подошел ко мне и протянул руку.

— Господин доктор Вульф, желаю вам всего хорошего! Прощайте! — и поспешно вышел из палаты.

На следующее утро потребовалось больше часа на выполнение формальностей. Наконец около десяти часов с моим чемоданчиком в руке я вышел из ворот больницы.

Был холодный туманный день. В саду капало с голых ветвей, но мне казалось, что от земли уже немного пахнет весной. Клиника находилась почти за городом — в отдалении вырисовывались контуры башен и крыш, серых и безмолвных в тумане. Все выглядело угрюмо, почти зловеще. И вдруг, всего на несколько мгновений, проглянуло из-за туч солнце, и его золотой свет косыми полосами лег на мостовую.

Я постоял немного в полосе солнечного света, как на маленьком дружественном островке. Но нельзя же было оставаться здесь до бесконечности...

Бороться за разум...

Я глубоко вздохнул и твердым шагом пошел к угрюмому городу, в туманную мглу...

Курт Занднер
СИГНАЛ ИЗ КОСМОСА

Редактор *Г. В. Левенштейн*
Художник *В. А. Ковенацкий*
Художественный редактор
Ю. Л. Максимов
Технический редактор
Л. М. Харьковская
Корректор *Н. В. Спичкина*

Сдано в производство 7/IV-
1965 г. Подписано к печати
22/VII-1965 г.

Бумага 70 × 90 $\frac{1}{32}$ = 3,75
бум. л., 8,78 печ. л.,
Уч.- изд. л. 8,57. Изд. №
12/3205.

Цена 43 к. Зак. 297.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МИР»
Москва, 1-й Рижский пер., 2

Ярославский полиграфкомби-
нат «Главполиграфпрома»
Государственного комитета
Совета Министров СССР по
печати.
Ярославль, ул. Свободы, 97.

**В 1965 году
В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «МИР»
ВЫХОДЯТ:**

Кашшаи Ф. Телечеловек. Будапешт, 1963 г., перевод с венгерского, 8 л.

Действие повести происходит в конце 60-х годов в вымышленной стране Миклане. Главный герой, талантливый ученый Бирминг, изобрел установку, в которой он использовал последние достижения в области электроники и биофизики. При помощи этой установки ему удается добиться получения объемного изображения, которое как бы оживает. Случилось так, что изображение самого профессора начинает самостоятельную жизнь. С «двойником» происходит ряд увлекательных приключений, возникает социальный конфликт между ним и профессором, раскрывается проблема ответственности ученых за свои изобретения.

Лем С. Охота на Сэавра. Сборник научно-фантастических рассказов, перевод с польского, 16 л.

Новый сборник рассказов Лема включает два цикла. В первом из них — «Приключения звездного навигатора Пиркса» — собраны все рассказы о любимом герое Лема — звездном навигаторе Пирксе. Некрасивый, простодушный и застенчивый парень, Пиркс беззаветно влюблен в свою космическую профессию. Хотя он и невысокого мнения о себе и своих способностях, его мечта — совершить подвиг. Для Лема главное в рассказах о Пирксе — не ракеты и туманности, а человек со всеми его достоинствами и недостатками.

Второй цикл рассказов, названный «У роботов — свои сказки», включает «кибернетические сказки» писателя. Забавные сказки не так уж невинны. Как и всякие хорошие сказки, они имеют социальную подоплеку, живо переключаются с действительностью.

Поул Ф., Корнблат С. М. Операция «Венера» (Торговцы космосом). Фантастический роман, перевод с английского, 10 л.

Роман рисует предпринимательскую Америку рекламных трестов. Главному герою романа Митчелу Кортнею, заведующему отделом, рекламирующим полет на Венеру, приходится столкнуться с законами жестокой конкуренции, подлогами, убийствами, пережить измену друзей. Кортней на собственном горьком опыте убеждается в антигуманной сущности буржуазной цивилизации.

Чэд Оливер. Ветер Времени. Научно-фантастический роман, перевод с английского, 10 л.

Врач Чейз в середине XX века случайно попадает в пещеру, где находятся пришельцы с планеты Лотрас, погруженные в анабиотический сон после аварии, происшедшей с их космическим кораблем еще в каменном веке. Лотранцы пробуждаются и захватывают Чейза в плен. Вместе с ним они знакомятся с американской действительностью и глубоко разочаровываются в ней. Чейз и лотранцы снова погружаются в сон. Пробудившись через несколько столетий, они видят взмывающий в почное небо звездолет. Впереди — перспектива нового расцвета объединившихся цивилизаций, новых побед разума.

Эмпахер А. Сила аналогий. Варшава, 1964, перевод с польского, -7 л.

В книге известного польского писателя-популяризатора Эмпахера наглядно и живо рассказывается, как человек, зная свойства одних процессов, исследует другие, ему еще неизвестные, но чем-то сходные с первыми. Автор увлекательно и с большим остроумием показывает, как от изобретения в 1623 г. логарифмической линейки человек пришел к созданию сложнейших современных электронных машин и других систем, моделирующих разнообразные физические процессы и позволяющих инженерам проводить расчет мостов, холодильников и промышленных печей, математикам — громоздкие вычисления, физикам — имитировать работу атомных реакторов.

Яркие примеры, рисунки и фотоснимки, наглядно иллюстрирующие книгу, изобилие сопоставлений дают возможность ознакомиться с этими незаменимыми средствами исследования как школьнику-старшекласснику, так и инженеру и даже врачу (ибо аналоговые устройства находят применение даже в медицине).

Симен Б. Река жизни. Нью-Йорк, 1961, перевод с английского, 13 л.

Приложите руку к левой стороне груди — и вы почувствуете биение своего сердца. Не зная ни секунды покоя, работает неутомимый насос, разгоняя по телу кровь, эту «реку жизни», без которой не может существовать ни одна клетка нашего организма. По «реке жизни» транспортируются питательные вещества и кислород к тканям, здесь же находятся и защитные силы организма, готовые сразиться с чужеземцем-микробом. Каким же законам подчиняется «река жизни»? Кто ее первооткрыватели? Какие тайны она еще скрывает от человека?

На все эти вопросы отвечает книга известного американского писателя-популяризатора Б. Симена. Автор увлекательно рассказывает о том, как от первобытных верований в магические свойства крови люди поднялись до научного понимания кровообращения и его роли в жизненных процессах организма. Он приводит интересные сведения о медицинских познаниях в древности и в наше время, знакомит читателя с учеными, исследовавшими кровь, с их поисками и заблуждениями, с их нередко трагическими судьбами.

43 коп.

